

Завтрак с видом на Эльбрус

Автор: Юрий Визбор

Пятница простиралась до самого горизонта. За пятницей следовала вся остальная жизнь за вычетом предварительно прожитых сорока лет. Эта сумма не очень бодрила. Второй развод. Мама, когда-то совершенно потрясенная ремонтом квартиры, долгое время после этого говорила: "Это было до ремонта" или "Это было уже после ремонта. Теперь все, что я проживу дальше, будет обозначаться словами "это уже было после второго развода". В кабинете у Короля было всегда темновато, поэтому здесь вечно горела старомодная настольная лампа из черного эбонита, под которой в стеклянной ребристой пепельнице дымилась отложенная им сигарета. Король читал мое заявление, а я рассматривал тонкие фиолетовые туманы, поднимавшиеся от сигареты прямо к огню лампы. Вообще-то Король не очень любил меня. Началось это давным-давно, когда он написал свою первую брошюру, которую в процессе писания торжественно называл повестушками. "Повестушку одну кропаю, братцы, за-шил-ся!" Обнародовал он свое произведение уже в изданном виде. Брошюра называлась не то "Орлята, смелые ребята", не то наоборот, в смысле "Ребята, юные орлята". Как-то после летучки он вытащил из своего портфеля целую кипу огненно-красных брошюр, где над орлятами гордо летела его собственная фамилия: по огненному в черных дымах небу было написано "А. Сумароков". Заглядывая в титульные листы, на которых уже заранее дома были им написаны разные добрые слова, он одарил своим новорожденным всех, не обойдя никого. Подарил брошюру даже машинистке Марине - стилиге и дикой, совершенно фантастической врунихе. Когда она говорила: "Здравствуйте, меня зовут Марина", можно было ничуть не сомневаться, что одно из четырех слов было враньем.

Конечно, мне не следовало смеяться над своим заведующим отделом, журналист может все простить, кроме намека на бездарность. Черт меня дернул тогда сказать при всех: "Переплет неважнецкий". "Да,- встрепенулся Король, - я добивался глянцевого картона, но все это делается у них на инобазе. Безобразие! Такого пустяка не могут освоить!" "Безобразие, - согласился я,- большие произведения должны сохраняться на века!"

Король понял. Я уж и не рад был, что ляпнул, потом и крутился, даже домой ему звонил, отмечая несомненные достоинства "повести", но дело было сделано. Король мне этого не простил. Впрочем, когда в одной из газет появилась хвалебная рецензия на его брошюру, он положил эту вырезку под стекло своего стола и часто цитировал ее, вызываясь глядя в мою сторону. Юмор в нем, хоть и дремучий, проживал.

Когда я подал заявление об уходе, Король дважды довольно тупо прочитал его, потом снял очки и большой мясистой ладонью помял глаза, как бы раздумывая, что выбрать из вихря вариантов, проносившихся в голове. Из этого вихря он выбирал обычно почему-то самые банальные варианты. - Что я могу сказать? - начал он, и я знал, что ему сказать и вправду совершенно нечего. - Это большое легкомыслие. Больше ничего. Ты можешь сказать что-нибудь более внятное, кроме "по собственному желанию"? Ну не мог же я объяснить ему всех причин... Это и вправду было легкомыслием.

- Мне надоело, - ответил я, - быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать.
- Чем ты будешь заниматься?
- Сменю профессию, Король.
- На кого?
- На кому - сказал я, - так по-русски будет правильной.
- Ну ладно, на какую профессию?
- Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
- Может, тебе нужно немного передохнуть? Давай мы покрутимся без тебя.

Могу попробовать достать путевку через наш Союз в Варну.

- Я и сам могу достать- такую путевку через наш с тобой Союз.

- Ну так что же?

- Я все решил. Мне сорок лет, жизнь к излету.

- Тебе вот именно что сорок лет! - возмущенно сказал Король, но возмущившись этим фактом, он вывода из него так и не сделал.

Я знал, что этот разговор - последний. Шеф был в Америке, а его зам Шиловский был настолько стар и равнодушен ко всему и не интересовался ничем, кроме методов лечения каменно-почечной болезни, что мог бы утвердить мне зарплату большую, чем у него самого. Шеф - другое дело. Он был из наших. Да и в редакции не решалось ни одного важного дела, чтобы шеф, как бы мимоходом, не поставил бы меня в известность или как бы попутно не выяснил бы моего мнения, которое он вскоре выдаст за свое. А может быть, наши мнения просто совпадали. Не знаю. Да и неважно теперь все это. Я твердо знал, что, чего бы это мне ни стоило, я возьму лыжи, уеду в горы без всяких телефонных звонков, писем, обрызганных слезами, и рыданий в подъездах. В Москве шли февральские снега. Еще не успев добраться до поверхности Садового кольца, они темнели на спуске и ложились под радиаторы торпедным катеров, которые плыли плотной толпой, поднимая по обеим сторонам волны грязно-коричневой смеси воды и снега. Работали стеклоочистители. Водители напряженно смотрели вперед. Забрызгивало задние стекла. Прыгали огни светофоров. Низкое темное небо висело над салатовыми стадами такси. Чей-то добрый голос мягко просил на пол-Москвы: "56-66, возьмите вправо". От снегов было темно по-осеннему, и днем во многих домах горели огни... В редакции пахло листьями со свежей версткой, старым кофейником нашим м бутербродами с сыром. Король сказал:

- Старик, ну в случае чего... если материально... я тебя буду печатать всегда.

Мы с ним работали восемь лет. Все-таки восемь лет никуда из жизни не спишешь...

- В случае чего, если материально, я приемщиком бутылок пойду. Говорят, у них роскошная жизнь.

- Нет, старик, я серьезно.

Король был старше меня на пять лет. Иногда мне мучительно хотелось подружиться с ним. Временами я его просто любил. Однажды мы с ним шли по Гамбургу. Дисциплинированные жители этого города терпеливо ждали на перекрестке зеленого свете. Улица была небольшая, и машин не было. Однако все стояли и ждали. Картина, которая заставила бы заплакать любого московского инспектора.

- Нет, - вдруг сказал Король, - я им не простил.

Он сказал это совершенно без злости. Я его хлопнул по плечу, и мы пошли дальше.

Восемь лет я отчаянно воевал с ним, клял свою судьбу, что она доставила мне такого тупого начальника. Я множество раз корил себя за то, что в свое время отказался возглавить отдел и остался спецкором. Правда, это давало мне возможность ездить, писать и кататься на лыжах. Другого мне и не нужно было. Все правильно.

Мы простились с Королем, м впервые за восемь лет он сделал попытку меня обнять, чего я совершенно не выношу.

...Я позвонил один раз, всего один раз.

- Алло, - сказала она таким мягким и ласковым голосом, с такой улыбкой и нежностью, что только от одной мысли, что все это теперь адресовано не мне, я помолодел.

- Здравствуй, это Павел.
- Аа, - деревянно откликнулась она.
- Я звоню тебе вот по какому поводу: у меня в субботу собираются все наши, и я котел бы, чтобы ты присутствовала. В противном случае я должен всем что-то объяснять.
- Ну и объясни.
- Этого мне бы и не хотелось. Есть ряд обстоятельств...
- Ты всегда был рабом обстоятельств.

О, это была ее излюбленная манера - перевести разговор из мира простой логики в сферу возвышенных, но сомнительных выводов, необязательных и ничего не значащих. Она часто, например, говорила: "Мудрый побеждает неохотно", имея в виду то ли себя под "мудрым", то ли меня, побеждавшего с охотой. Впрочем, истина никогда не интересовала ее. Ее интересовало только одно - победа, итог. В самом крайнем и либеральном случае ее интересовало ее собственное мнение об истине. К самому же предмету в его реальном значении она была совершенно равнодушна. Более того, чем больше он не походил на то, каким ему надлежало, по ее мнению, быть, тем большей неприязни он подвергался.

- Я тебя люблю, - сказал я.
- Это пройдет, - ответила она и положила трубку.

Я поплелся в свою квартиру, пустую и холодную, как тюрьма. Некоторое время я стоял в подъезде, рассматривая надпись на стене, появившуюся несколько дней назад. Толстым фломастером было написано: "Мне 18 лет. Боже, как страшно!"

...Ровно через двадцать четыре часа я стоял у гостиницы "Чегет" в горах Кавказа. Луна всходила из-за пика Андырчи. Перевалившись через гребень облака, освещенные луной, были белы, как приведения. Над перевалом Чипер-Азау то и дело открывался из-за облаков фонарь Венеры, окруженный светлым ореолом. На небольшой высоте над горами быстро и молча прошел искусственный спутник. Ветер бродил по верхушкам сосен, шумела река. В природе был полный порядок. Она никому не изменяла, но и никого не любила. Для того чтобы увидеть звезды, с каждым годом все дальше и дальше надо уезжать от дома...

Иногда мне представлялось - я это ощущал с поразительной ясностью, - что уехало мое поколение на самой последней ножке воинского эшелона. Состав - смешанный. Перед паровозом ФД на открытой платформе с песком - зенитные орудия. Теплушки. Пассажирские вагоны с деревянными ступеньками. Странные железные заслонки у окна - наверно, для того, чтобы пассажирам, кто из окон выглядывает, ветер дорожный и дым паровозный в глаза не попадали. Под потолком вагона - свеча за стеклышком, лавки деревянные блестят, шинелями отполированные. Накурено. Солдаты, бабы, гармошки, бинты, карманы гимнастеров булавкой заколоты. Огонь добывается, как при Иване Калите кресалом по куску булыжника. Кипяток на станциях. Танки под брезентом. В вагонах пели на мотив "Роза мунде":

В дорогу, в дорогу, осталось нам немного
Носить свои петлички, погоны и лычки.
Ну что же, ну что же, кто пожил в нашей коже,
Тот не захочет снова надеть ее опять.

Последний вагон в эшелоне - детский. Деревянные кинжалы. Звезды Героев Советского Союза, вырезанные из жестянок американской тушенки. Довоенные учебники в офицерских планшетах. В гнезда для карандашей ввиду их полного отсутствия вставлены тополиные прутики. В нашем вагоне пели:

Старушка на спеша
Дорогу перешла.
Ее остановил милиционер...

Мы держали в тонких руках жидкие школьные винегреты и смотрели на уходящую дорогу. За нашим последним вагоном клубилась пыль - то снеговая, то июльская, рельсы летели назад. Наши армии, наши личные армии шли на запад, и по вечерам мы подбирали горячие пыжи, падавшие на улицы, озаряемые вспышками салютов. В кинотеатрах шла "Серенада Солнечной долины", и английские эсминцы под звуки "Типперэри" входили в Североморск, который тогда еще назывался Ваенга. Наш поезд летел к неведомому пока еще дню победы, к счастливой-пресчастливой жизни после этого дня.

Господи, ну прошло же это, прошло! Почему же все это так крепко сидит во мне? Почему, уезжая из Москвы, ну хотя бы на электричке - на север, на запад или юг, я чувствую, что через сорок километров пути наш электропоезд попадает на территорию "тысячелетнего рейха"? Почему с нескрываемым сентиментальным умилением и чуть ли не со слезами я смотрю на школьников, стоящих в почетном карауле у вечного огня? Каким дорогим мне кажется это! Как я рад думать, что они хоть немножко соединены во времени с нами, что нация наша продолжается, не забыв ничего - ни хорошего, ни плохого - из того, что было с нами?

...Впервые я попал в горы через семь лет после окончания войны. В горах не было ни отелей, ни дорог, ни канатных дорог, ни фирмы "Интурист". Последние иностранцы, посетившие Кавказ, были егеря знаменитой дивизии "Эдельвейс", герои сражений в Норвегии и на Кипре, альпинисты и горнолыжники высокой выучки, прекрасно научившиеся убивать в горах. Горы не скрывают ничего. На перевалах и гребнях Кавказа они ничего не прятали от нас: ни сгнивших кухонь "Мета", ни автоматов "Шмайсер", ни солдатских черепов в ржавых касках. Написано в песне: "...ведь это наши горы, они помогут нам!" Да, это были наши горы, любимые и желанные, белые и синие. Они были Родиной, частью нашего дома, его верхним этажом, крышей, куда мы поднимались, чтобы постоять на свежем ветру, осмотреть просторы и увидеть с высоты то, что трудно увидеть с равнины, - синие гребни на горизонте, море за холмами, себя на крутизне земного шара.

Но помощи от них не ожидалось. Они равнодушно подставляли бока своих изумрудных альпийских лугов, гребни и вершины, перевалы и снежники - равно обеим воюющим сторонам. Они равно мели метелями обе армии, они равно сушили их дымящиеся шинели у костров. Нет, они не помогали нам. Мы помогали им. Я шел от гостиницы "Чегет" по белой, лунной дороге, пересекая тонкие тени высоких сосен. Мимо парами и группами проходили туристы и лыжники, приехавшие сюда отдохнуть. Для многих из них горы были просто зимним курортом. Как Сочи. Местом, где стоят отели, крутятся канатные дороги, снуют автобусы с надписью "Интурист". Ни разу не побывав в горах, моя бывшая жена уверенно говорила: "Горы? Горы - это то место, где изменяют женам, пьют плохую водку и ломают ноги". Ну что ж, в этом цинизме была своя правда. Но в этих горах я не водился.

На следующий день я получил свое отделение. Я сменил профессию. Горными лыжами я занимался давно. Теперь я стал профессиональным тренером.

Наверно, только после тридцати лет я стал проникаться мыслью, что самое страшное в жизни - это потерянное время. Иногда я буквально физически чувствовал, как сквозь меня течет поток совершенно пустого, ничем не заполненного времени. Это - терзало меня. Я чувствовал себя водоносом, несущим воду в пустыне. Ведро течет, и драгоценные капли отмечают мой путь, мгновенно испаряясь на горячих камнях. И самому мне эта вода не впрок, и напоить некого. Я смутно подозревал, что не может это ведро быть бесконечным, что вон там, за выжженными солнцем плоскогорьями, я как раз и почувствую жажду. Но

ведро течет, и нет никаких сил остановить потерю. Лариса имела и на этот счет свои соображения. Ее тревожило и угнетало уходящее время. Она с яростью исследователя и фанатика отмечала крохотные следы времени на своем лице, на своем теле. Ее приводила в ярость сама мысль о том, что когда-то пройдет красота, легкость, свежесть. Как-то я ей сказал: "Брось, все имеет свои основы во времени. Каждый возраст прекрасен. А красота - что с нее? Красота - не более чем система распределения жировых тканей под кожей". Она, конечно, сочла, что я оскорбил ее, и мы поругались. Никакие ветры не могли сбить мою красавицу с верного курса. "Паша, нужно жить так, будто сегодняшней день - последний день твоей жизни!" Да-да, это очень умно, думал я. Я даже пытался следовать этой доктрине. Только потом я понял, сто такой образ жизни приводил к катастрофической, стопроцентной потере времени. Этот способ общеизвестен. Он называется - суета. Нет, надо жить так, будто у тебя впереди вечность. Надо затевать великие, долговременные дела. Ничтожество суеты, материальных приобретений и потерь, обсуждений того, что существует независимо от обсуждений, леньность головного мозга, отвыкшего от интеллектуальной гимнастики, - все это удлиняет тяжесть жизни, растягивает ее унылую протяженность. Жизнь легка у тех, кто живет тяжестью больших начинаний.

.. Лиля Розонова, умирая в больнице, написала:

Как медленно течет мой дань,
Как быстро жизнь моя несется...

- Любовью, а главное, болтовней о любви человечество занимается потому, что ему нечего делать.

Так сказал мне Барабаш уже во вторую минуту нашего знакомства.

- И занимается этим, заметьте, Павел Александрович, та часть человечества, которая не способна сообразить, что красота восторгающих ее закатов - всего лишь небольшое математическое уравнение, составными величинами в которое входят угол склонения солнца над горизонтом, количество пылинок на один кубический сантиметр атмосферы, степень нагрева поверхности земли, дымка, рефракция и ее явления. Ах, закат, ах, восход, ах, небо, ах, любовь! Истратили на все эти глупости духовные силы огромной мощности. Чего достигли? Ничего. Физики и лирики? Тоже глупость. Возьмем ли мы с собой в космос ветку сирени? Чепуха. Кому вообще в голову могла прийти такая мысль? В мире существуют прочные константы физики, химии, биологии, геохимии, космологии, наконец, математики. Когда мы не можем объяснить те или иные явления, мы прибегаем к поэзии. В натуре человека есть свойство делать вид, что он все знает. И как только мы встречали нечто неизвестное, необъяснимое, так тут же прибегали поэты со своими бессмысленными словами и начинали нам объяснять физический мир. Ученый из неясного делает ясное. Поэт и из ясного умудряется сделать неясное. И потом - эта совершенно безответственная метафорическая связь слов, ничего не означающая. "Лужок, как изумруд". "Изумруд, как весенний лужок". Так что же, как кто? Неясно. Пушкин в этом смысле хоть и поэт был, но пытался наладить прямые связи. "Прозрачный лес вдаль чернеет - он и вправду просто чернеет и все. Ничего больше. "И речка подо льдом блестит". Не как шелк или парча, а просто блестит. Заметили? Барабаш со злостью ввертывал винты в только что просверленные дрелью отверстия на грузовой площадке лыжи, Его круглая лысина уже успела по-детски порозоветь от солнца. Он ходил без шапочки, очевидно считая, что раз приехал в горы, то должен на сто процентов использовать их физические качества, которые он наверняка смог бы выразить "небольшим математическим уравнением": разреженность воздуха, его чистота, интенсивность ультрафиолетового излучения, бессоляную воду. Я еще не знал, как он относится к такой особенности гор, как обилие молодых девушек. Под моим строгим взглядом он нажимал худой, жилистой рукой на отвертку, и злость его была ошутима почти физически.

- То же самое и с любовью, - продолжал он, - напридумывали бог знает что! Обыкновенная статистическая вариация встреча двух индивидуумов - возведена в такие недостижимые сферы, что только диву даешься. Ну разве мало-мальски серьезный человек может утверждать, что в восемнадцать лет он встретил одну-единственную на всю жизнь из всего населения земного шара? И встретил ее тогда, когда в этом появилась естественная биологическая потребность? Что за чушь? Я не поклонник западных брачных бюро, но в них есть здоровый и полезный цинизм. Есть показатели группы крови, резус-фактор, генетические особенности, склонности характера - это в конце концов и определяет будущую жизнь супругов. Я, естественно, опускаю материальную сторону дела.

- Дайте-ка я доверну, - сказал я, взял у него отвертку и навалился на винт. Барабаш мне становился неприятен.

- Вы согласны со мной? - не унимался он.

Я пожал плечами.

- Я уважаю чужие взгляды даже в том случае если и х не разделяю. Разумеется, если дело идет об истинных убеждениях.

- Значит, вы молчите?

- Можно сказать и так. Но заметьте - я не считаю нужным обращать кого-нибудь в свою веру. Я - не миссионер.

- Почему?

- Потому что вера - это интимное качество души. Я понимаю, что вас воротит от слова "душа" - ее ведь невозможно выразить с помощью "небольшого математического уравнения".

Барабаш с возрастающим интересом смотрел на меня. Внезапно я понял: он из тех людей, которые несказанно радуются, найдя достойного оппонента, ибо нескончаемая цель жизни подобных типов - спор, спор на любую тему, любыми средствами, в любом состоянии. Цель - спор. Итог неважен. Барабаш, улыбаясь, закурил.

- Дайте-ка другую пару лыж, - сказал я. У меня не было желания сотрясать и дальше воздух бессмысленными рассуждениями.

- И все же - сказал Барабаш - что вы думаете о том что я сказал?

- Насчет любви? По-моему, это чепуха.

- Но, говоря так, вы навязываете мне свое мнение, вы антимиссионер?

- Я просто отвечаю на ваш вопрос. Не более. Дайте ботинки.

Он подал ботинки, и я стал размечать место для постановки крепления.

"Да,- подумал я, - с этим теоретиком у меня будет немало вопросов при обучении его".

Барабаш понял, что я не хочу дальше продолжать этот спор, но не сдавался.

- Я не понимаю, - почти выкрикнул он, - вы все твердите "любовь, любовь", будто в этих словах заключен какой-то магический смысл! Любовь - бред. Пустота. Обозначение нуля.

Он мог сейчас заявить, что любовь - это свойство тепловозов. Он мог сейчас заявить все что угодно, потому что спор кончился, и Барабаш уже задыхался без словесной борьбы.

- Сергей Николаевич, - сказал я, - не тратьте на меня душевный пыл. Где дрель?

Он подал дрель. Обиделся. Любопытно, кто его бросил? Не похож ли я на него? Я посмотрел - был он жилист, крепок, подвижен, лыс. Наверняка бегают по утрам, ходит в бассейн. Однокомнатная кооперативная квартира. Стеллаж с книгами. Тахта. Дешевый телевизор.

Портрет Хемингуэя. Нет, этот Хемингуэя не повесит. Скорее - папа Эйнштейн. Таблетки от бессонницы. Лаборантка, которая приходит раз в неделю, без надежды на что-нибудь постоянное. Он любит спать один и всегда отправляет ее домой ночью. Она едет в последнем поезде метро, усталая, несчастная и, прислонясь к стеклу раздвижных дверей, плачет. Проповедует ли он ей свои великие истины относительно любви? Наверняка. Огонь электрокамина мил тому, кто не грелся у костра.

Господи, зачем я так? Он лучше. Он просто несчастен. Похож ли я на него? Да, похож. Но я не проповедник. В этом мое преимущество. Мне захотелось сказать ему что-нибудь хорошее. Я взял головку крепления.

- Сергей Николаевич, правда, оригинальная конструкция? Вы, как инженер, должны оценить.

Барабаш недовольно повертел в руках головку "Маркер".

- Оцениваю на три с плюсом. А вообще, я не инженер. Я - теоретик. Обиделся.

На этом и закончился теоретический спор о любви двух неудачников. Под бетонным потолком горели голые лампочки. Лыжи стояли в пирамидах, как винтовки. Мы работали в холодном лыжехранилище. Что делают сейчас наши женщины? С кем они? Где?

Дрель уныло визжала, проходя сквозь лыжу, минуя слои металла, эпоксидной смолы, дерева. Я - тренер на турбазе. Ужасно.

Как ни странно, но я испытывал чувство какого-то неуловимого удовольствия, раздумывая о своих горестях. Сознание покинутости, одиночества настолько глубоко сидело во мне, что было просто стыдно говорить с людьми. Мне казалось, что они очень ясно видят все, что происходило и произошло со мной. Во всех подробностях. Любая тема была для меня неприятна. Любые слова задевали. Я относил к себе даже дорожные знаки. Знак "только прямо и налево" тонко намекал на ее измену. Нечего и говорить, что знаменитый "кирпич" - "проезд запрещен" - прямо издевался надо мной.

Иногда - совершенно по-глупому - меня прорывало, как плотину, и я начинал излагать малознакомым людям такие подробности своей жизни и недавней любви, что ужасался сам.

Но, в общем, я держался. Я старался контролировать свои слова, движения, жесты, 'взгляды, смех. Я курил так, будто у меня впереди были две жизни. Я отчаянно боролся с совершенно бессердечной, безжалостной стихией. Постоянным, не знающим никаких перерывов напряжением я, как плотина, держал напор этой стихии, имя которой - я сам. Меньше всего мне импонировал дырявый плащ неудачника, однако я почему-то не спешил сбрасывать его со своих плеч. В его мрачной и неизвестной мне доселе тяжести был какой-то интерес, что ли...

Барабаш был первым, с кем я познакомился из своего отделения. На следующее утро я увидел и остальных своих новичков. После полубессонной ночи в самолете, суеты в аэропорту Минводы, после двухсоткилометровой дороги по равнине и Баксанскому ущелью, после первого в их жизни воздуха высокогорья все они были дряблые, как осенние мухи. Они шурились от безумного белого света, заливавшего окна комнаты. Я пожимал их вялые руки, называя свою фамилию. Я хотел получить группу "катальщиков", лыжников, которые хоть раз были в горах, но мне дали новичков. Ну, я не обиделся.

Мои новички сверхвнимательно слушали меня, будто боялись пропустить какое-то магическое слово, которое даст им ключ к быстрому и ловкому катанию на горных лыжах. Я говорил, вставляя в свою речь всякие умные слова - "философия движения", "мышечная

радость". Наверняка, для них эти формулы не имели никакого смысла. На самом же деле я не гарцевал перед строем, а наоборот - пытался как можно проще рассказать своим новичкам, что горные лыжи как занятие являются одним из наиболее высокоорганизованных двигательных комплексов.

Все нажитое человеком - его скелетом, его механикой, его мускулами, двигательные рефлексы, закрепленные за миллионы лет, - все это протестует против основных движений горнолыжника. Если легкая атлетика является продолжением естественных движений, то горные лыжи - конструирование новой системы перемещения человека в ограниченном весьма определенными требованиями пространстве. Горные лыжи пополняли механику человека способностью вырабатывать новые двигательные рефлексы. Сегодня я лечу по бугристому снежному склону и мои ноги, бедра, корпус, руки проделывают движения в быстрой и ловкой последовательности. И мне кажется странным, что этот комплекс техники никогда раньше никому не приходил в голову. Я много раз пере читывал рассказ Э. Хемингуэя. "Кросс на снегу", в котором он описывает два древних горнолыжных поворота - телемарк и христианию. Сегодня эта техника - понятая высоко рука с палкой, выставленная далеко вперед на согнутом колене нижняя по склону лыжа - кажется смешной, да и уж вряд ли кто-нибудь сможет сегодня показать классический телемарк. Австрийская техника параллельного ведения лыж, выработанная в послевоенные годы, стала надежным фундаментом спуска с гор любой крутизны, рельефа, любого снега. Впоследствии французы изобрели свою технику.

Конечно, всего этого я не говорил своим новичкам. Пухлые, вялые, встревоженные, они сидели передо мной. Я должен осчастливить их. Они научатся преодолевать страх одного мига, когда лыжи в повороте на секунду оказываются направленными строго вниз по склону и кажется, что, не сделай вот сейчас чего-то быстрого, судорожного, и полетишь ты на этих пластмассовых штуковинах прямо в пропасть. Но эта маленькая прямая всего лишь часть дуги-поворота. В тот день, когда мои новички ощутят это, к ним придет волнуемое чувство преодоленного страха. В конце концов,- самые большие радости внутри нас. Я улыбнулся и осмотрел свое отделение.

Впереди всех сидел, естественно, мой замечательный оппонент в вопросах любви и дружбы теоретик Барабаш. Он настороженно-скептически слушал все, что я говорил, явно намечая темы, по которым вступит со мной в широкую дискуссию. Рядом с ним напряженно сидели два молодых человека, успевших сбегать на нарзанный источник, что легко определялось по двум бутылкам из-под шампанского, висевшим у каждого из них на шее на белых бечевках. Впоследствии эти молодые люди получают прозвище "реактивщики", но не столько за свою профессию, сколько за страсть к скорости, явно не соответствовавшую их технике. Сзади "реактивщиков" достойно расположились супруги А. и С. Уваровы. Кажется, они ошиблись адресом. Супруга вообще явилась при белой, в кружевах кофточке. Жалко. Такие обычно ездят отдыхать на, как они выражаются, "Кавминводы". Может, местком что-то перепутал? Разберемся. Далее, Костецкая Елена Владимировна, двадцати шести на вид лет, редактор телевидения. Я бы добавил в анкете - хороша собой. Уверенный и печальный. взгляд. Далее - Куканова Галина, Внешторгбанк. Бойкий глаз, средняя курносость. Курит уже с утра. Далее - Пугачев Вячеслав Иванович, научный сотрудник. Респектабельный молодой человек, уверенные жесты. Привычно вынимает зажигалку "Ронсон", не глядя прикуривает, твердо поднося сигарету к тому месту, где должен находиться кончик огня определенной длины. Красив. Вот и все мое войско.

После вступительной лекции задавали обычные вопросы, порой смешные. Барабаш молчал. И правильно. Тяжелая артиллерия не участвует в местных стычках. Слава Пугачев внимательнейшим образом выслушал все вопросы и ответы и, без запинки назвав меня по имени-отчеству, спросил:

- Павел Александрович, вы, как наш инструктор, можете ли дать стопроцентную гарантию, что с нами здесь ничего неприятного не случится? Меня прямо-таки поразила эта наглость.
- На этот вопрос, - сказал я, - легче всего ответить таким образом: да, я гарантирую это, если вы будете совершенно точно выполнять мои требования. И это будет правда на 98 процентов. 2 процента - на неопределенность.
- Например?

Мне нравилось, как он говорил - твердо, уверенно.

- Например, если вы сегодня напьетесь в баре и оступитесь на ступеньке.
- Это очень тонко, - заметил Слава Пугачев, - но я хотел бы, Павел Александрович, получить ясный ответ.
- Вы боитесь сломать ногу? Руку? Голову?
- Да, я опасюсь этого. Я нахожусь в таких обстоятельствах, что не имею на это право.

Господи, да что же за обстоятельства такие у него в НИИ шинной промышленности? Его что, на парашюте. будут сбрасывать на заводы "Данлоп", чтобы выведать им секреты? На обеих девушек заявление об особых обстоятельствах произвело впечатление. Галя из Внешторгбанка даже ногу на ногу переложила.

- Я могу вам вот что сказать: несколько лет назад у меня, был новичок, который занимался на склоне в шортах, но и в танковом шлеме. Были очень жаркие дни, и он сильно мучился. Он очень боялся ударить голову. В последний день занятий он сломал ногу. Когда я вел его на акье вниз, он с удовольствием, как мне показалось, содрал с головы этот танковый шлем и выбросил его.
- Он огорчился, что защищал не то место?

Ах, как можно было с этим Славой расправиться, опираясь на неловко сказанную фразу! Но я решил не делать этого.

- Я думаю, - ответил я, - что он огорчился потому, что весь отпуск вместо того, чтобы радоваться солнцу и горам, он пытался ощутить радость оттого, что с ним пока ничего не случилось.

Я встал, чтобы окончить этот разговор. Все пошли переодеваться и получать лыжи. К моему удивлению, супруги Уваровы тоже отправились на склон. На лестнице ко мне пытался прицепиться Барабаш - относительно процентной вероятности того или иного случая, но я выскользнул из его сетей, сказал, что цифры я взял наугад и заранее согласен на любую его трактовку.

Чаще всего вспоминалась мне в эти дни моя дочь, моя маленькая Танюшка... Мы с ней садились в наш троллейбус N23 Людей было мало. Я усаживал ее у окна, довольный тем, что она будет глазеть через стекло на улицу, и тем, что я буду ограждать ее от людей, проходящих по троллейбусу. Я испытывал острейшее желание быть рядом с этим маленьким человеком каждую секунду его жизни. Я без колебаний смог бы отдать свою жизнь за ее. Мы ехали с ней по Пушкинской, наш троллейбус катился среди машин и людей, и я был совершенно счастлив. Я видел ее желтую цыплячью шапочку, связанную ее матерью и подшитую для защиты от ветра изнутри шелком. Я видел розовый кусочек Танюшкиной щеки, соломинки ее волос, выбивавшиеся из-под шапочки. Иногда она поворачивалась ко мне и говорила: "Па, давай прочитаем!" "Давай", - отвечал я и, тонко подталкивая ребенка к чтению, говорил: "Начинай". "А-пэ-тэ-ка", - читала она и вопросительно смотрела на меня.

Правильно ли? В принципе было правильно.

Иногда ее вопросы поражали меня. Я не мог себе представить, что под этой цыплячьей шапочкой кружатся другие мысли, кроме кукольно-домашних. Однажды, проснувшись, она спросила меня: "Па, если я спрячусь под кровать, бомба меня не убьют?" Помню, я не сообразил сразу, что ей ответить, и молчал. Я был в отчаянии и ужасе, что такая мысль вообще может прийти в голову ребенку. Я сказал ей: "Мася, в твоей жизни не будет никаких бомб". - "А я умру!" "Нет, ты никогда не умрешь. Ты будешь жить очень счастливо". (Когда Танюшка и вправду умирала от седьмой пневмонии за месяц, я носил ее на руках, а она, обнимая меня за шею, с недетской силой, кричала только одно: "Папочка, я не хочу умирать" Мы едва спасли ее тогда.) - "А я буду рожать детей? Я не хочу рожать". - "Почему?" - "Это больно". - "Но ведь мама тебя родила". - "Ну ладно, только одну дочку". - "Ну хорошо, дочку так дочку". - "Па, а тех кто в море утонывает, их водолазы спасают?" - "Некоторых спасают". - "А мы с тобой некоторые?"

Да, безусловно, мы - некоторые. Безусловно, нас спасут водолазы. Мы не утонем в море. Мы спрячемся от бомбы под кровать. Дети не терпят трагедий. Их мозг не адаптировался к печалям. Они желают именно той жизни, для которой и создан человек, - радостной и счастливой. Они - проповедники всеобщего благополучия. В них живет чистая, ничем не запятнанная идея.

...Мы едем на троллейбусе N23. Он останавливается у Столешникова переулка, у магазина "Меха". За окном - распятая шкура волка, черно-бурые лисы, свернувшиеся клубочком, шапки из зайцев, каракуль. Был вечер, и в витрине уже зажгли освещение. "Магазин убитых", - сказала моя дочь. Она не могла простить человечеству ни ружей, ни бомб, ни самой смерти как системы. Потом, когда обе мои бывшие жены разлучили меня с дочерью - одна из высоких и благородных соображений ("этот подлец никогда не увидит моей дочери!"), а вторая из-за нестерпимой, болезненной ревности, - я часто приезжал к ее детскому саду и, стоя в тени дерева, издали видел, как в смешном строю красных, голубых, розовых шапочек плывет и ее цыплячья шапочка, для защиты от ветра изнутри подбитая шелком. Я чувствовал, что моя дочь скучает без меня. Я это не просто знал, а чувствовал. Нас не разлучали ни километры, ни океаны, ни снега. Нас разлучали страсти, ужасающая жестокость характеров, желание сделать маленького человека, рожденного для добра, орудием злобной мести.

Никогда, до самой смерти я не смогу простить этого ни себе, ни обеим этим женщинам, моим бывшим женам, которых я любил и которые клялись мне в вечной любви.

...Посмотрев на свою дочь, я сел в метро, вагоны поезда летели среди привокзальных пакгаузов, весенней черноты насыпей, останавливались у бетонных пристаней станций, построенных в свое время по одному унылому ранжиру. Я на время успокаивался, но счастья не наблюдалось. "Мне пора на витрину, - думал я, - туда, где распят серый волк над свернутой в калачик черно-бурой лисой. В магазин убитых". Так я думал о себе, и это была правда. Я был убит. То, что осталось от меня, было уже другим человеком.

...Хруст спрессованного снега под похожими на ортопедическую обувь горнолыжными ботинками. Некрутой скользкий склон к нижней станции канатной дороги. Очередь. Цветные куртки, пуховки, анараки, свитера, штормовки. Заостренные концы лыж, чуть шевелящиеся над очередью, как пики древнего воинства. Металлические поручни турникетов, каждый день полируемых тысячами локтей. Колесо' подъемника. Контролеры канатной дороги с недовольными лицами. Сегодня главный внизу - красавец Джумбер. Вот он стоит в кепочке фирмы "Саломон", в куртке фирмы "Мальборо", в стеганных брюках "Ямаха", в очках "Килли", в ботинках "Кабер", с палками "Элан", с лыжами "Росиньели СТ-Компетишон". Живой отчет о посещении Кавказских гор интуристовскими группами.

Я знаю Джумбера давно. Лет десять назад в полном тумане под вечер я спускался по южным

склонам Чегета. Внезапно сквозь визжание снега под металлической окантовкой лыж я услышал крики. Откуда-то справа кричала женщина: "Помогите, помогите" Туман глушил звуки. Соображая, из чего бы мне соорудить шину и как транспортировать пострадавшую, я, перелетая через какие то бугры, помчался вправо. Выскочив к еле видимой в тумане нижней станции бугеля, я увидел, что пострадавшей уже оказывают помощь. Над ней наклонился Джумбер. Тогда ни о каких шапочкам "Саломон" не было и речи; если кто-нибудь из Европы и приезжал раз в два года, так это было событие. Одним словом, Джумбер тогда одевался попроще. Сквозь туман, как на недопроявленной фотографии, я увидел его искаженное злобой лицо: на грязном ноздреватом снегу у ободранной ветрами серой фанерной будки он ломал руки какой-то туристке. Не говоря ни слова, я ударил его. Мы сцепились, причем я, как в известном анекдоте о финском солдате, явившемся в отпуск к жене, так и не успел снять лыжи. Полнотелая, как я успел заметить, туристка, всхлипывая, уехала куда-то вниз, в туман. Джумбер клялся меня убить памятью своего отца и еще какими-то страшными местными клятвами. Наше сражение закончилось тем, что в огромной пропасти ущелья, которая ясно ощущалась в тепловатом тумане, вдруг что-то безмерно большое тяжело вздохнуло, что-то открылось, и нарастающий гром помчался оттуда. Там, на склонах Донгуза, тысячи тонн снега внезапно оторвались, не выдержав тяжести последнего грамма, и, корежа перед собой воздух, ринулись вниз, круша все на своем пути: снег, камни. Лавина. Мы расцепились и молча разъехались в разные стороны.

Через два дня я встретил Джумбера и эту самую туристку на дороге. Они шли в обнимку под высоченными соснами Баксана. Увидев меня, Джумбер снял со своего плеча руку туристки (кстати довольно хорошенькой, но в тот момент показавшейся мне совершенно отвратительной) и грозно подошел ко мне. "Разрешите прикурить", - сказал он. Я дал ему спички. Он долго чиркал с одной стороны коробки, потом с другой. Наконец зажег. Синяк под глазом у него заживал. Мы стояли близко. Я смотрел на него и почти любовался его твердым и темным, без капельки жира под кожей лицом. "Как здоровье?" - спросил он. - "Нормально",- сказал я и взял спички. У меня не было ни охоты, ни причин опять драться с ним. "Пойдем, зайка", - сказала ему туристка. Джумбер положил руку мне на плечо. "Хорошо на лыжах катаешься"- сказал он, - умный, туда-сюда, статьи пишешь, простых дел, туда-сюда, не понимаешь. Туристка мелко засмеялась, Я снял руку Джумбера. "Прикурил и будь здоров", - сказал я и пошел.

Года кажется, через два мы даже выпили вместе, но все равно недолюбливали друг друга. Сейчас, глядя на Джумбера, я отчетливо увидел, как он постарел за эти десять лет, но все же был еще орлом, особенно при заграничных доспехах. Вяло посматривал на женские лица. "Привет, Джумбер", - сказал я, садясь в кресло подъемника. "Привет, Паша", - сказал Джумбер. Когда впервые после долгой разлуки над твоей головой жужжат ролики на мачтах опор, когда кресло канатной дороги ровно и мягко поднимает тебя вверх, когда мимо тебя на уровне глаз скользят вниз вершины чегетских сосен, их золотые стволы, то прямые, то кряжистые, то разошедшиеся надвое, как лира, когда за этими соснами начинают проглядывать белые купола Эльбруса - начинаешь всей душой ощущать, что ты вернулся, вернулся, вернулся то ли к мечтам, то ли к сожалениям, то ли к молодости, то ли к прошлому, к местам ушедшей, но не утраченной радости, к свежим снеговым полям, где мимо тебя, как юная лыжница, много раз пролетала несостоявшаяся любовь. Но не было ни тоски, ни тяжести в этих мимолетных потерях. Острый запах снега. Льды, ниспадающие с вершин как белый плащ, голубые на изломах. Над Накрой блистает золотая копейка солнца. Возвращение. Белые снеговые поля с черными точками лыжников. Две канатные дороги, идущие почти рядом, - однокресельная и двухкресельная. Поместному - "узкоколейная" и "парнокопытная". За восьмой опорой показывается легкий ветерок, даже не ветерок, а просто тянет из глубин донгузского ущелья. Северо-западная стена Донгуза, вечно в тени, похожа на рубку подводной лодки, обросшую сверку льдом. Я машинально просматриваю гребень, который прошел шестнадцать лет назад. Боже, как это было давно! Улицы нашего детства стали неузнаваемыми. Их перекрасили в другие цвета. Наши любимые заборы и глухие

стены домов, о которые бились наши маленькие (за неимением больших) резиновые мячи, и слышалось то "штандр", то "два корнера - пеналь", сегодня снесены бульдозерами. Наше детство просто перемолото в траках бульдозеров. Любят ли наши дети разлинованные квадраты своих кварталов? Почитают ли они их своей родиной? Не знаю. Мы любили свои тихие тополиные двory, мы чувствовали в них отечество. Только наши девочки, чьи имена мы писали мелом на глухих стенах, давно превратились в покупателей, клиенток и пассажирок с усталым взглядом и покатыми плечами. Пошли на тряпки наши старые ковбойки, просоленные потом наших спин, гордые латы рыцарей синих гор. Мы не видим себя. Все нам кажется, что вот мы сейчас поднимемся от зябкого утреннего костерка, от похудевшей на рассветном холодке белой реки, шумящей между мрачноватых сырых елей, и пойдем туда, куда достаёт глаз. За зеленые ковры альпийских лугов. За желтые предперевальные скалы. За синив поля крутых снегов, к небу, к небу такому голубому, что кажется - можно его потрогать рукой и погладить его лакированную сферу. Но ничего этого не происходит. Есть другие дома, другие двory, другие женщины, другие мы. И только гребень Донгуза стоит томно такой, каким он был шестнадцать лет назад. Это возвращение. Все-таки это возвращение.

...Наше кресло выползло за "плечо", за перегиб склона, и открылись верхние снежные поля Чегета, уходящие за гребень линии канаток, стеклянный восьмигранник кафе, чьи огромные зеркальные окна отбрасывали солнце. Здесь я обнаружил, что еду в кресле с Галей Кукановой из Внешторгбанка и поддерживаю с ней интенсивный разговор. Оказывается, в ее представлении я был спортсменом, который "все время двигается".

- Ваша жизнь, - быстро и без всяких знаков препинания говорила она, - это солнце, снег, полет, волнения перед стартом, ведь правда? У людей нашей профессии работа исключительно сидячая, вот взять, к примеру, меня или Натку, даже пройтись некогда, после работы, метро, автобус, я живу в Ясенево, там наши дома, поэтому вырабатывается комплекс клерка, вы, конечно, слышали об этом, накапливается агрессивность, ну, конечно, мы ходим в дискотеку со светомузыкой, но это все не то, я решила в этом году, что, была не была, махну в горы, тем более что по студенческому билету, правильно, Павел Александрович?

- Конечно, - успел вставить я.

- Мне так к лицу загар, вы себе не представляете, так хочется все забыть, и неприятности в личной и в общественной жизни, я снимаю три года подряд одну комнату в бухте бэтта у Геленджика, вы знаете, но это все не то, я представляю, как появлюсь в конторе, специально надену платье с белым воротничком отложным, чтобы оттенить загар, они там сдохнут.

Все это Галина Куканова выпаливала, точно направив свой несколько курносый нас в сторону солнца, то есть слегка отвернувшись от меня. И с закрытыми глазами.

Приехали. Я откинул штангу кресла и выпрыгнул на дощатый, с плоскими ледовыми островами помост. Повыше помоста у кафе стояло, сидело и валялось в самых разнообразным позам множество лыжников, "чайников", то есть туристов из санаториев "Кавминвод", приехавших на экскурсию в драповых пальто и шляпах, загорающих девиц и просто не очень больших любителей кататься. На крыше пристройки к кафе стояла какая-то фигура с длинными распущенными волосами, оборотясь лицом, естественно, к светилу. Я вздрогнул. Остановился, обдаваемый словесными ливнями неутомимой Галины Кукановой. Нет, слава богу, нет. Не она. Было бы просто замечательно встретить ее здесь. Подмявшись к кафе, я внимательно рассмотрел девицу, так испугавшую меня. Я даже закурил от волнения. Извиняюсь. Никакого сходства с Лариской. Что мне в голову взбрело? Никакого сходства.

На большом дощатом помосте перед кафе, на так называемой палубе, я собрал свое воинство и повел их на учебный склон. Как ни странно, мои гаврики оказались гораздо лучше, чем я предполагал. Слава Пугачев - тот вообще молодец, "плуг" у него железный, коряво, но

пытается поворачивать "из упора". Отлично. Оба "реактивщика", бодрых, по моим наблюдениям, еще посла вчерашнего, решили "перескочить из феодализма в социализм", то есть осваивать сразу технику ведения параллельных лыж. Вывалялись в снегу изумительно, насмешив всех и все более и более приобретая трезвость. Супруги Уваровы - потихонечку, полегонечку, он очень трогательно опекал ее и жутко волновался, когда она падала. Галя Куканова больше заботилась о загаре. Барабаш требовал, чтобы я объяснил ему "физику процесса", и я довольно подробно объяснил ему, что происходит при переносе тяжести с одной лыжи на другую и как производить этот самый перенос. Но больше всем меня удивила Елена Владимировна Костецкая, редактор телевидения, 26 лет. Мало того, что она имела свое собственное и довольно приличное снаряжение, она и неплохо каталась. При этом совершенно на показывала своего опыта, а очень аккуратно проделывала все самые элементарные упражнения. Я ей сказал, что могу перевести ее в другую группу, к "катальщикам", где ей будет интересней, но она отказалась, сказав, что она, правда, была уже здесь, но очень давно. Ну, когда в двадцать шесть лет говорят "очень давно", то наверняка речь идет о предыдущем романе.

Пока я разговаривал с Еленой Владимировной, внезапно меня посетило некое состояние, в котором мне - совершенно ясно, но неведомо откуда - открылось все об этой молодой женщине. Вдруг я понял, что она приехала сюда, в горы, для того, чтобы пересидеть развод, размолвку, а то и трагедию. Она надеялась уйти от своей памяти, уйти от себя. Как, собственно говоря, и я. Неожиданно мой мозг, без всякой на то моей воли, быстро и четко спрограммировал наши будущие отношения. Мы дурачимся и танцуем в баре. Потом медленно идем под высоченными соснами баксанской дороги, под несказанно звездным небом, и на чегетской трассе где-то очень высоко лежит серебряный браслет кафе. Она говорит о своем бывшем муже или любовнике в прошлом времени, как о покойнике. "Он был ужасный эгоист. Он был эгоистом даже в своей любви". Она прижимается ко мне. Мы целуемся. Я ощущаю слабый запах табака и вина. Потом мы, не сговариваясь, быстро и молча идем к гостинице. Потом несколько вечеров я рассказываю ей о своих приключениях. О, она осуждает Ларису! Потом она садится в автобус, и я понимаю, что тоска в ее глазах не оттого, что она прощается со мной, а оттого, что она возвращается к своим проблемам, никак их не решив. "Ты хоть позвонишь мне в Москве?" - спрашивает она. "Да, конечно", - отвечаю я. Автобус уезжает. Нет, это не для меня.

- Елена Владимировна, - сказал я, - вы все-таки подумайте над моим предложением. Пару дней можете позаниматься у меня, а потом я могу перевести вас к "катальщикам".

- Хорошо, я подумаю.

Несмотря на мои советы и предупреждения, все мои участники изрядно обгорели. Я не решился в первый день спускать все отделение по трассе, усадил их на подъемник. Правда рвались в бой "реактивщики", но я не разрешил. Взял я с собой только Славу Пугачева и Елену Владимировну. Повел их по туристской трассе с частыми остановками и разговорами. Мы прошли "Солнечную мульду", часть "плеча" и по длинному косому спуску вышли к туристской трассе, где "катальщики" проносились мимо спускающихся кучками отделений, кричащих инструкторов, барахтающихся в снегу и поправляющих крепления новичков. Я скользил то выше, то ниже своих ребят, на ходу поправляя их, выкрикивая разные технические разности вроде: "Здесь плоские лыжи! Плоские, не бойся!", или "Сбросили пятки, сбросили резче!", или "Корпус развернут в долину!". Слава несколько раз падал, каждый раз пытаясь свалить вину за эти падения то на лыжи, то на "бугор какой-то подвернулся идиотский". Елена Владимировна каталась за мной без всякой лихости, но аккуратно. Наконец с падениями, остановками и всякими шутками мы спустились к лесу. Для первого раза я не хотел вести своих ребят по прямому пути к гостинице, по узкому и крутоватому для новичков кулуару, так называемой трубе, высоко над которой тянется нитка подъемника, а повел их по более простому пути через донгузское ущелье. Там проложена довольно широкая лыжная дорога. Однако теневые участки этой дороги - лед, солнечные

участки - снежная каша. Где-то на этих шахматах Слава Пугачев и упал. Мы стояли и ждали его.

Рядом с нами шумела неглубокая речка. Камни на ее берегах и посреди воды были покрыты огромными сверкающими шапками снега. От некоторых камней вдоль поверхности воды стелились совершенно прозрачные тонкие пластины льда, под которыми переливались струи стальной воды. На вершине каждой сосны сидело небольшое мохнатое от снега солнце. Над нами прямо в небо поднимались блистательные лестницы когутайских ледников. Рай.

- Бог ты мой! - сказала Елена Владимировна. - Как все же прекрасно возвращение! Я и на знала, что так скучаю по всему этому!

- Возвращение всегда опасно, - сказал я.

- Чем?

- Ностальгией по прошлому визиту.

Она сняла очки и с интересом направила на меня, именно направила, другого слова нет, глаза, полные ясной бирюзы, которая еще не полиняла от слез и не вытерлась о наждак бессонницы. Наверняка она знала убойную силу этого прямого удара.

- В конце концов, - медленно сказала она, - когда зеркало разбито, можно смотреться и в осколки.

- Зеркало... осколки... Какая-то мелодрама, - сказал я.

- А кстати, - улыбнулась Елена Владимировна, - жизнь и состоит из мелодрам, скетчей, водевилей. Иногда - вообще капустник. Мелкие чувства - мелкие жанры.

- Не знаю насчет жанров, просто Ремарк где-то сказал: "Никуда и никогда не возвращайся".

- Все афоризмы врут, - ответила Елена Владимировна.

- Это можно рассматривать тоже как афоризм.

- Значит, н он лжет, - твердо сказала она. Нет, у ним там на телевидении дамы хоть куда.

- Вы мне нравитесь, - совершенно неожиданно для себя сказал я.

- Это тоже афоризм, - холодно ответила она и снова погрузилась в. большие, с тонкой оправой светозащитные очки. - И между прочим, не очень новый.

- Не сомневаюсь, - успел сказать я. К нам с недовольной миной подъезжал Слава Пугачев.

- Павел Александрович, - фальшиво громко сказала Елена Владимировна, - а вы каждый день точите канты лыж?

Меня это тронуло. Она считала необходимым скрыть наш разговор от третьего лица. То, что было сказано между нами, становилось нашей тайной. Тайна - колчан, в котором любовь держит свои стрелы.

Третье лицо, мокрое и злое, подъехало к нам все в снегу. Ну любопытно, кого же он. сейчас обвинит? Нас? Точно! Он так и сделал, но это было уже не очень интересно. Мы подъехали к гостинице, где все мое отделение во главе с нервным Барабашем встретило нас и устроило овацию, будто-мы спустились на лыжах ну по крайней мере с Эвереста.

В холле гостиницы продавали свежие, то есть трехдневной давности, газеты. Была среди них и моя, то есть бывшая моя. Я пробежал полосы, я знал всех, кто подписался под статьями и заметками, и тех, кто не подписался. Посмотрел на шестой полосе - нет ли там некролога по мне. Нет, все нормально. Когда спрыгиваешь с поезда, локомотив не чувствует этого. И уже в номере, стоя под душем, я подумал, что и вправду метафоричность обманывает нас, а все сравнения неточны, даже лживы. Никакого поезда нет и не было. Я просто убежал от своим проблем. Драпанул. И теперь, как Вячеслав Иванович Пугачев, пытаюсь обвинить всех, кроме себя.

...Иногда меня подмывало прямо-таки женское любопытство: на кого же она меня променяла? Что за принц и что за карета повстречались ей на асфальтовых дорогах, чьи трещины наспех залиты по весне и полно пятен от картерного масла? Что он ей сказал? Что предложил? Я хотел бы знать, в какую сумму она оценила мою жизнь. Полюбив Ларису, я потерял все: ребенка, которого любил, жизнь, которая складывалась и наконец-то уложилась за десять лет, друзей, которые единодушно встали на сторону моей бывшей жены, чем меня, надо сказать, тайно радовали. Иногда по ночам, сидя с Ларисой в ее зашторенной квартире с отключенным на ночь телефоном, мы чувствовали себя почти как в осажденной крепости. Я перестал писать. Я перестал ездить в горы. Я избегал долгим командировок. Каждая минута, проведенная без Ларисы, казалась мне потерянной. Мы без конца говорили и говорили, иногда доходя почти до телепатического понимания друг друга. Соединение наших тел становилась лишь продолжением и подтверждением другого, неопределимо прекрасного соединения - соединения душ. Я пытался разлюбить то, что любил долгие годы. Вся арифметика жизни была в эти дни против меня. За меня была лишь высшая математика любви, в которую мы оба клятвенно верили. Мало того - у нас появился свой язык, и эта шифровальная связь была вернейшим знаком истинным чувств. Никакой, альтернативы моей жизни не существовало. Однако в один вечер она твердо и зло оборвала эту жизнь. Любви не свойственна причинность, и я никогда не задал бы вопроса - за что? Но иногда мне любопытно узнать - в какую цену?

Дежурная по этажу мне передала записку. На листе бумаги, вырванном из записной книжки, было написано: "Пень! Мог бы сунуть свою харю в кафе. Я здесь уже пять дней. Серый". Я обрадовался. Это была настоящая удача. Серый, он же Сергей Леонидович Маландин, он же доктор химическим наук, он же альпинист первого разряда, известный в альплагерях по кличке Бревно, был моим другом.

- Кто передал записку? - спросил я.

- Такой черный, - ответила дежурная по этажу, не прерывая вязания носка.

- Такой большой, туда-сюда.

Да, это был он, туда-сюда! Я положил записку в карман пуховой куртки и, наверно, впервые за много месяцев улыбнулся от того, что захотелось улыбнуться. Бревно был во многих отношениях замечательным человеком. Он преподавал свою химию, туда-ее сюда, то в МГУ, то в парижской Сорбонне, то в Пражском университете, то в Африке. При этом он успевал ходить в горы, работать землекопом в каких-то неведомых археологических экспедициях, строить коровники где-то в Бурятии, много раз жениться ("Паша, я пришел к одному только выводу: каждая последующая хуже предыдущей?"), изучать иностранные языки и с какой-то материнской силой любить трех существ: дочь, отца и собаку. Кроме этого, он еще и химией своей занимался, скромными проблемами озона, которые с появлением сверхзвуковой авиации неожиданно-негаданно превратились в важную тему. Кроме того, он был вернейшим товарищем, и со времен окончания нашей знаменитой школы (знаменитой на Сретенке тем, что ее кончал футболист Игорь Нетто) у меня не было такого верного друга. Были прекрасные и горячо любимые друзья. Но такого верного - не было.

Канатные дороги уже остановились (отключали их здесь рано, часа в три дня), но я решил подняться в кафе пешком, как в старые и, несомненно, добрые времена. Перепад высоты четыреста семьдесят метров - час с любованием предзакатным Эльбрусом. Я доложил о своем намерении старшему инструктору ("Борь, я схожу в кафе к старому другу, там переночую, а ты подними моих утром наверх, я их встречу"). С унылым юмором старший инструктор просил предать привет Ей, то есть старому другу. Я обещал.

На большом бетонном крыльце перед гостиницей маневрировало несколько пар, в том числе и два моих участника - Барабаш и Костецкая. Быстро он взялся за дало!

- Вот это я понимаю! - воскликнул Барабаш, увидев меня с лыжами на плече.
- Тренировка, тренировка и еще раз тренировка! Наши предки, Елена Владимировна, совершенно не предполагали, что когда-нибудь будет изобретен стул, на котором можно будет долго сидеть, колесо, на котором ехать, тахта, с которой невозможно подняться. Они жили так, как Павел Александрович, - вволю нагружая свое тело! Когда у них останавливались подъемники, они шагали в гору пешком. Когда барахлил карбюратор, они бросали "Жигули" и неслись за мамонтом пятиметровыми прыжками.

Всю эту ахиною Барабаш нес, поминутно заглядывая в лицо Елене Владимировне, будто призывая ее посмеяться над его шутками и ни на секунду не выпуская ее локтя.

- Черт возьми, - продолжал он, - до чего же хорошо себя иногда почувствовать птеродактилем! То, что мы сегодня называем словом "спорт", было для наших предков постоянным фактором. Сыроедение, постоянное голодание, освежающее организм, постоянное движение - так они жили! Павел Александрович, вы ко всему прочему не сыроед?

Солнце уже ушло с нашей поляны, и сверкающие Когутаи стояли по пояс погрузившись в синие тени. Начинало подмораживать. Барабаш в ожидании ответа стоял передо мной, чуть вытянув шею, будто и впрямь хотел стать птеродактилем. Его свежезапеченная на солнце лысина вызывающе блистала. Он не скрывал лысины. Он не скрывал ничего. О, он откровенный человек!

- Я не понимаю, - сказал я, - что за день сегодня такой? Все надо мной шутят.

- Это к деньгам, - сказала Елена Владимировна.

- И вам спасибо, - ответил я. - В общем, я ушел, завтра буду вас ждать на палубе у кафе. Я там заночую.

- Что-нибудь случилось? - спросила Елена Владимировна.

- Приехал старый друг, надо повидаться.

Мне кажется, что Павел Александрович скромничает, встрял Барабаш, фамильярно подмигнув мне. - На такую высоту можно идти только к старой подруге, которая к тому же и друг.

И опять вытянул шею. Господи, умный человек ведь?

- Как-то я раньше считал, сто подруга в конце концов может стать другом. Но чтоб друг стал подругой - не встречал, - ответил я. - Привет.

Я повернулся, но Елена Владимировна остановила меня.

- Павел Александрович, - сказала она, - вы не можете остаться?

- То есть? - обиделся Барабаш.

- Для вас - тотчас! - сказал я, удивившись, откуда я знаю столь пошлые слова.

- А я! - спросил Барабаш. - Мы уже договаривались насчет шашлычной...

- Я не могу сейчас соответствовать, - сказала Елене Владимировна. - Тут в вестибюле полно самых разнообразных девиц... почувствуйте себя немного птеродактилем.

- Я ищу духовного общения! - воскликнул Барабаш, и я почти полюбил его, потому что это была скрытая шутка над собой, над своей лысиной, над всем его полушутством. Я люблю людей, которые умеют шутить над собой.

Барабаш приосанился, гордо посмотрел в сторону вестибюля.

- У меня длинные тонкие зубы, - тихо и таинственно сказал он. - На выступающих частях

крыльев - когти. Глаза горят волчьим огнем. Бумажник распирают несметные тысячи. Передо мной не устоит ни одна жертва!

Он решительно повернулся и пошел к дверям гостиницы.

- Я нисколько не обижен, Леночка! - все в том же трагикомическом фарсе крикнул он.

- Если б я была жертва, я бы вас полюбила! - засмеялась Елена Владимировна. Она повернулась ко мне и строго сказала:

- Почему вы позволяете шутить над собой?

- Мне лень,- сказал я. - Потом он хороший, А вы что, и вправду не жертва? - Я жертва, Павел Александрович, которая не рождена быть жертвой. Вот в чем вся печаль. А вы, кажется, тоже не сильный охотник?

- Нет, почему, - сказал я, - бродил по болотам...

- Вы извините, я никак не могла от него отвязаться. Он сразу же после обеда взял меня под руку и все время говорит что-то умное. Но когда все время говорят что-то умное, хочется хоть немного какой-нибудь глупости. - Например, поговорить со мной, - сказал я.

- Вы просто подвернулись под руку. Я страсть как обожаю глупым мужиков. У нас их на телевидении до черта. А вы что, правда собрались на восхождение? - Ну какое это восхождение? Вечерняя прогулка.

- Старый друг?

- Исключительно старый.

- Хотите я пойду с вами?

- Нет.

- Я смогу, я очень сильная, вы не знаете.

- Нет.

Она поежилась, подняла воротник желтой, как лимон, куртки. Прижалась щекой к холодному нейлону.

- Я просто за вас волнуюсь, - сказала она. - На ночь глядя... и так высоко...

- Не о чем разговаривать, я старый альпинист, - сказал я. И потом все, что могло со мной случиться, уже случилось.

- Вы ошибаетесь.

- Не может быть..

- Это очевидно. Вы просто не были раньше знакомы со мной. Смотрите. - Она постучала пальцем себе по лбу. - Видите?

- Вижу замечательный лоб, - сказал я.

- Это называется "гляжу в книгу - вижу фигу", - засмеялась Елена Владимировна. - Глядите внимательно - у меня во лбу горит звезда. Мы посмотрели друг на друга, и во мне что-то дрогнуло.

- Ну, идите, Павел Александрович, темнеет быстро.

Она ушла, резко хлопнула расхлябанная дверь гостиницы. Я, тяжело спускаясь в горнолыжных ботинках по ступеням, пошел вниз, с ужасом чувствуя что Елена Владимировна Костецкая мне начинает нравиться. Примораживающийся снег визжал под негнушимися подошвами ботинок. Я вышел на выкатную гору, стал подниматься по "трубе", держась ее правой стороны. Конусные палки со звоном втыкались в мерзлые бугры. Странно, но я был смущен разговором. Только теперь я понял, какой напряженный нерв в нем был. Нет, нет! Я даже замотал головой и был наверняка смешон для стороннего наблюдателя. Не может быть все так быстро. Быстро полюбил, быстро жил, быстро расстался, быстро забыл, быстро снова полюбил. Чепуха. Клин выбивается клином только при рубке дров. Эта мысль отчасти успокоила меня. Я пошел веселее. Однако слабая травинка, неожиданно выросшая посреди моего вырубленного и пустынного навек, как я полагал, сада, не давала мне покоя.

..Когда я поднялся к кафе, на блеклом небе уже зажглись первые звезды. Мертвенно-синие снега висели на вершинах гор. Лишь над розовеющими головами Эльбруса парила пронзительно-оранжевая линза облачка, похожего на летающую тарелку. Серый сидел на лавочке, курил, ждал меня. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что я мог не подняться.

- Рад тебя видеть без петли на шее! - сказал он и взял у меня лыжи.
- Посидим, - сказал я.
- Да, не тот ты, не тот, - сказал Серый, глядя, как я утираю пот с лица.
- А кто тот? - спросил я. Серый ухмыльнулся. Присел рядом.

Под его сутулой гигантской фигурой лавочка слабо скрипнула.

- Как дела! - спросил он.
- Нормально.
- Семья и школа?

Я промолчал.

- Ну что, что, не тяни.
- Знаешь, Бревно, - сказал я, - во флоте есть такая команда "Все вдруг".
- Таковую команду мы знаем, - печально сказал он, глядя на меня. - Никаких перемен?
- Нет. - Ну что же... - сказал Серый, - курс прежний, ход задний.

У меня тоже неприятности. Обштопывают они нас.

- Кто? - спросил я.
- Американцы. Я здесь недавно посмотрел ряд их работ по озону...

Серый замотал головой, будто в горе. Боже мой, все занимаются делом! Все, кроме меня!

В маленькой пристройке кафе, где на нарам жило человек пятнадцать, был уже готов крепчайший и горячий чай. На электрической плите в огромном армейском баке топился снег. Светка, хозяйка хижины, увидев меня, недовольно сказала:

- Явился, гусь! Сегодня пролетел мимо меня с какой-то блондинкой, даже не поздоровался. Паша, совести у тебя нет!

Я сел за стол. Я был среди своих.

Утром мы проснулись от грохота. Узкие и высокие, словно готические, окна жилой пристройки были совершенно заметены до самого верха. В ротонде кафе по огромным зеркальным окнам неслись снизу вверх потоки снега, будто там, у подножия стены, стояли огромные вентиляторы. С невероятной быстротой росли островерхие сугробы с сабельными тонкими гребнями. Стекла дрожали. Каждые полчаса надо было откапывать входную дверь. Погас свет. Мы расчистили камин в центре кафе и пытались его разжечь. Дым под потолком плавал синими беспокойными озерами. С Донгуза и Накры шли лавины. Мы готовились рубить деревянный настил палубы на дрова. Рев стоял над миром. Это Эльбрус приветствовал весну.

К полудню все это безумство стало стихать, временами открывались то кусок "плеча", то донгузские стены, то верхние подъемники с жалобно повизгивающими на ветру пустыми креслами. Я котел спуститься на лыжах вниз, к своему отделению, но меня отговорили.

Серый даже ложки куда-то унес. На двух примусах кипятили чай, играли в карты, болтали. Непогода. Я позвонил вниз старшему инструктору, что я, мол, тут. Он пожелал мне приятного времяпрепровождения со "старым другом", причем компания, сидевшая у него, весело загоготала. Говорят, что у меня в отдалении есть какая-то симпатичная блондинка.

И так далее.

Серый говорил мне, сидя перед огромным окном ротонды:

- Давай так: что остается? Дети, родители, друзья, работа. Дети уходят, родители умирают, друзей забирают женщины, работа в итоге превращается в жизнь. Сколько нам с тобой осталось жить? Ну, тридцатка, это в лучшем случае. От шестидесяти до семидесяти скидываем на маразм и умирание. Осталась двадцатка. Отпуска, болезни, командировки, всякие симпозиумы пять лет. Дни рождения, праздники, бессмысленные вечера, неожиданные приезды неизвестных родственников, пикники, просиживание ж...ы у телевизора, футболы, которые нельзя пропустить, бани, шатание по автостанциям. О, и наконец - телефон, черное чудовище! На все это кладу еще пять лет. Остается десять лет. Малыш, это огромное время. Десять лет работы! Это счастье! "Что жар ее объятий? Что пух ее перин? Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим?" Настало время дельтапланизма. Летал! Нет? Зря. Там в полете приходят изумительные мысли. Ну, почти как на горе. Понимаешь, что живешь крошечно мало и невообразимо долго. Ну что тебе далась эта Лариска? Хищник-грызун из отряда добытчиков бриллиантов. Чужак, знающий наши пароли! Сейчас на тебя смотреть жалко. Тогда ты был ничтожен. Тогда при ней ты был просто ничтожен.

- Я ее любил, - сказал я, - мы спали обнявшись.

- Отошли это наблюдение в журнал "Плэйбой". Ты хоть начал писать свою книгу!

- Тем некоторые проблемы возникли, - сказал я.

- Сколько ты написал?

- Три страницы..

- Позор. Ты сделал что-нибудь для Граковича?

- Я ушел с работы, я же тебе объяснил.

- Ему-то какое дело? Он-то писал лично тебе и надеется лично на тебя! Позор, Пана. Десять лет, дорогой, десять лет осталось. Колеса крутятся, счетчик такси щелкает, а машина буксует. Через десять лет твоей Татьяне будет семнадцать. Она должна иметь отца. Ты обязан добиться этого любыми средствами. Лучшее из них - финансовые инъекции. Год уйдет на унижения. Ничего, потерпи. Не жди ни от кого любви. Цель благородна. До конца своих дней этот ребенок будет твоим, а ты - его. Отдай долг, не тяни. И знаешь, не делай глупостей. Не вздумай мстить Лариске.

- Я не думаю.

- Вот и не надо. Учти: дворяне стрелялись на дуэли только с дворянами.

- Тоже мне граф, - сказал я.

- Граф не граф, - сказал Серый, - а шведский король уже фрак чистит одежной щеткой. Готовится мне вручать Нобелевскую премию.

- Ага, - сказал я, - разбежался.

- Он, может быть, и не разбежался. Пока. А ты, Пашуня, слинял. "В борьбе за народное дело он был инородное тело".

- Ну ладно! - сказал я.

- Что ладно?

Серый посмотрел на меня почти со злостью.

- Мы с тобой вместе слишком много лет, - сказал он четко, будто формулируя итог, - и уже

не имеем права врать друг другу.

Внизу под нами ветер быстро разгребал облака. Открывалась сине-серая долина Баксана, прямоугольник гостиницы "Иткол", нитка дороги, леса. Мы молчали, глядя в открывшуюся под ногами пропасть. Внезапно с потрескиванием стали вспыхивать неоновые лампы под потолком, пол дрогнул, застучал, как движок, мотор старого холодильника. Зажглись электрокамины. Дали свет. - Бревно, ты прав, - сказал я, - ты прав во всем. Но я ее люблю. Он вздохнул и раскрыл огромную, как лопата, ладонь правой руки. Я знал, что там, поперек ладони, идет толстый и ровный шрам.

- Зачем я тебя удержал на Каракае? - спросил он.

Да, я это помню. Я многое забыл. Память моя, как рыбацкая сеть, рвалась, оберегая себя, если поднимала со дна слишком тяжелые и мрачные валуны воспоминаний. Но Каракаю я помнил, будто. каждый день смотрел этот документальный черно-белый фильм.

...Стоять ужасно холодно. По стене текут тонкие струи ледяной воды, вдоль стены летит снежная крупа, барабанит по капюшону штормовки. Двигаться невозможно, невозможно согреться, невозможно перетопнуться с ноги на ногу, хлопнуть рукой о руку, размять спину. Рюкзак, хоть и не тяжелый, тянет вниз. Снять его нельзя - под ним единственное сухое место, и место очень важное - спина. Прямо перед моим лицом - кусок угольно-черной мокрой скалы, маленькая трещина, в которую по проушину забит скальный крюк типа "Л", далеко не новый, с многочисленными следами от молотка, царапинами и вмятинами. На крюке висит капля воды. Этот пейзаж я рассматриваю довольно долго. Вверх от меня идет мокрая твердая веревка, и за перегибом стены, невидимый мне, пытается пролезть трудное, я думаю, - ключевое, место мой друг Бревно. Я иногда слышу, как он там чертыхается или раздраженно сморкается. Ниже меня, тоже за перегибом, стоит связка, и оттуда иногда спрашивает Помогайло: "Паша, шо вин там робыть?" "Лезет", - отвечаю я. "Чирти его знают, шо вин там лезе", - говорит Помогайло. Вот такой разговор. Иногда Помогайло закуривает, и ветер доносит до меня дым дрянных ростовских папирос. Вправо и влево видно метров по десять той же мокрой стены. Спиной я чувствую огромную пустоту позади пройденные нами скалы, ниже - ноздреватый лед ледника, чьи поры сейчас наверняка забиты белой снежной дробью, ниже мокрые и крутые травянистые склоны, а еще ниже - наш лагерь в сосновом лесу, где идет дождь и мокрый флаг прилип к флаг штоку. Я чувствую, как на шее, под клапаном рюкзака, становится все холоднее, свитер, ковбойка и футболка издевательски медленно начинают промокать. Наверно, на рюкзаке сзади растет снежный сугробик. "Ну что там, Бревно?!" - кричу я. "Сейчас..." - натуженно отвечает он. Я слышу, как хрустит камень под триконями его ботинок, и тотчас же стоящая колом на ледяном ветру веревка пошла вверх, скользя сквозь треугольник висящего на крюке карабина. Я слежу, сколько ушло вверх веревки - метр, два, три, ... почти три с половиной. Нормально. Бревно начинает наверху стучать молотком, загоняя в стену очередной крюк. "Паш, давай! - кричит он. - Там потом левой рукой возьмешься за мой карабин!" Я снимаю мокрые рукавицы и начинаю лезть вверх. Я ищу зацепки, вода тотчас же забегает в рукава штормовки. Выжимаюсь. Скребу триконями по неровностям стены. Перед глазами медленно проходят царапины на скалах, оставленные триконями Серого. Он страшует, я это чувствую, натянутая веревка придает мне уверенность. Вдоль стены хлещет снежная крупа. Интересно, зачем я это делаю? К чему мне все это? С какой стати я очутился в этом внутреннем углу холодной северо-западной стены? Кто видит мои страдания? Я сам? Да, да, я сам. Да, это я сам, сознательно придумал себе испытание, сознательно пошел на него. Ага, вот его карабин. Берусь за него... подтягиваюсь... выжимаюсь. "Нормально?" - спрашивает Бревно. "Порядок..." - хриплю я. Я вижу перед собой носки его отриконенных ботинок. "Тут роскошно", - говорит он, и я действительно выхожу на наклонную полку, где можно даже сидеть. Ничего не отвечаю, легкие работают, как кузнечные меха, сердце стучит молотом по всей груди. Бревно улыбается, сматывает веревку. "Не слабое место", - говорит он. Я киваю.

Да, не слабое. Вдруг над нашими головами где-то далеко вверху появляется быстро летящий кусок голубого неба. Он исчезает, но тут же из-за открывающегося гребня с наметенными на нем снежными карнизами появляется новая голубизна. Задрав головы, мы смотрим на эти чудеса. Тепло от только что сделанной работы наполняет меня. Я чувствую невесть откуда взявшуюся радость. Интересно, что бы я делал, если бы в моей жизни не было гор? Что бы я мог узнать про себя?

Небо начинает очищаться, белые дирижабли облаков, вспарывая мягкие подбрюшья об острые скалы гребня, быстро несутся над нами. Ветер стал сушить штормовки. Это было холодно, но хорошо. "Ты прими ребят, а я пойду",- говорю я. Он кивнул. Я полез вверх, и радость не покидала меня. Я знал, что она, эта радость, потом будет долго жить во мне, что я смогу на нее опереться потом, в будущей жизни, которая ждет меня. Опереться, как на прочную, надежную зацепку на стене...

...Я сорвался на следующий день, на спуске с вершины. Серый удержал меня, но покалечил себе руку. Да, я помнил Каракаю. Это было давно, очень давно. Лариска в тот год кончала восьмой класс.

- Там кто-то идет, - вдруг сказал Серый, показав за окно.

Я встал. В разрывах облаков у далеких сосен "плеча" медленно двигалась по снегу какая-то черная фигура. На всей чегетской трассе, кроме немногочисленного населения нашего кафе, которое в полном составе присутствовало в ротонде, не было, вернее, не могло быть ни одного человека. Телефон работал, свет был, снизу нас ни о чем и ни о ком не предупреждали. В любую секунду погода могла снова испортиться. Тот, кто шел сюда, шел с чем-то необычайно срочным. Никакое другое дело не могло заставить в такую непогоду выйти здравомыслящего человека, Мы с Серым быстро оделись и стали спускаться вниз на лыжах. Еще издали я увидел желтую нейлоновую куртку. Снизу к нам поднималась Елена Владимировна Костецкая... Остановившись около нее, я спросил:

- Что случилось?

- Здравствуйте, - ответила она. - Ну что вы смотрите на меня таким зверем? Здравствуйте, мы же не виделись целые сутки.

- Поздоровайся с дамой, бревно! - сказал-мне Серый.

- Здравствуйте, Елена Владимировна, - сказал я, - Все-таки хотелось бы знать, что случилось.

Она откинула капюшон, сняла шапочку, поправила волосы.

- Ничего не случилось, - устало сказала она. - Я вас люблю. Вот и весь случай.

- Прекрасно, - тупо сказал я.

- Ну, Паша, ты даешь! - сказал Серый.

- А вы - его старый друг? - спросила она Серого.

- Вот этого, которого вы любите? - стал острить Серый. - Да, мы знакомы с ним давненько.

Но должен вам доложить, что как он был бревном двадцать лет назад, так бревном и остался.

Елена Владимировна взяла рукой пригоршню снега.

- Не ешьте снег, - сказал я.

- Если вы будете хорошо к нему относиться, - сказала она Серому, не ответив мне, - я к вам тоже буду хорошо относиться. Ну по крайней мере пускать в наш дом и кормить. Это немало.

- Ночевать можно иногда? Не часто, - спросил Серый.

- Не ешьте снег, Елена Владимировна, - сказал я.

- Можно.

- Вы мне нравитесь, - сказал Сергей.

- Это меня не волнует, - сказала она и села в снег. - Господи, как я устала! Вы меня не волнуете, старый друг. Меня волнует вот он, Паша.
- Вы могли бы это доказать! - спросил я.
- Разумеется.

Она встала со снега и отважно посмотрела на меня. Она ждала, она была готова ко всему. Сзади и ниже ее в серо-голубую пропасть ущелья уходили верхушки сосен, закрывающихся снежным туманом.

- Пожалуйста, - сказал я, - не ешьте снег.

Она усмехнулась и отряхнула от снега варежки.

- Я-то думала, что вы хотя бы поцелуете меня.
- Бревно и есть бревно, - сказал Серый. Он чуть проскользнул вниз к Елене Владимировне, обнял ее и поцеловал. Я, как дурак, стоял и смотрел на эту сцену.
- Это очень современно, - сказал я и стал снимать лыжи.
- Старый друг, - сказала Елена Владимировна, - вы топайте вперед, а мы с Павлом Александровичем здесь немножко поговорим, а потом вас догоним.
- Я ведь поцеловал за него! - стал оправдываться Серый. - Паша, я же за тебя! Вы не представляете себе, какой он нерешительный! Если ему что-нибудь не подсказать или не показать, он так и будет стоять у накрытого стола. Серый говорил быстро, пытаясь словами замазать ситуацию, действительно глупую.
- Ваши ночевки у нас отменены, - сказала Елена Владимировна. - Максимум, что вы заслуживаете, - воскресный обед.
- Паша, я отдаю тебя е надежные руки!
- В надежные, - улыбнулась Елена Владимировна, - но дрожащие и замерзшие. Она каким-то детским, наивным жестом протянула мне руки. Я подошел, расстегнул пуховую куртку и сунул ее руки в тепло, под куртку. Серый повернулся и стал подниматься.
- Ну, в общем, - говорил он, уходя, - если в течение часа вы не объявитесь, я всех подниму не спасаловку.
- Полтора часа! - крикнула Елена Владимировна.
- Это при условии ночевки, обеда с хорошо прожаренной отбивной и терпеливого, внимательного просмотра моих слайдов. - Он медленно скрывался в снежном тумане.
- Шантажист! - крикнула Елена Владимировна. - Я согласна!

Выше нас совсем все затянуло, и некоторое время в этой белой мгле было слышно, как похрустывают, удаляясь, ботинки Серого. Елена Владимировна смотрела на меня, прямо в глаза.

- Тепло? - спросил я.

Она поцеловала меня в щеку, осторожно, будто клонула.

- Я вот что решила, - сказала она. - Раз я тебя полюбила, чего я тебе буду глазки строить, кокетничать, говорить загадками? Валять дурака? То, что ты меня полюбишь, я это знаю, это точно.
- Ты... уверена? - спросил я. Неожиданно мой собственный вопрос прозвучал скорее как просьба.
- Это точно, - сказала она. - Ты - мой человек. Как только я тебя увидела в первый раз, когда ты вошел в комнату, где мы собрались, и стал говорить, я увидела, что это ты. Никто другой. Я тут же пошла в Терскол на почту, позвонила в Москву и все рассказала мужу, Сашке. Знаешь, я не терплю лжи. Мне очень трудно от этого, - добавила она, будто извиняясь. - Ты кто по профессии?
- Я - журналист, - гордо сказал я.

Ее руки под пуховкой, чуть гладившие мою спину, остановились.

- Ой как неудачно, - сказала она.

- Я - хороший журналист, - сказал я.

- Ну, может быть, - сказала она неуверенно, - конечно, может быть. Ты часто уезжаешь?

- Бывает.

- А что ты любишь?

- Как? - не понял я.

- Ну как - ну что ты больше всего любишь? Спать? Лежать в траве? Водить машину?

- Больше всего я люблю писать, - сказал я. - Работать.

- Хочешь, я тебе куплю зеленую лампу? Ну зеленую лампу с таким стеклянным колпаком из зеленого стекла? Ты поставишь ее слева от машинки и будешь работать. Я тебя не потревожу, ты не бойся. Да, я забыла тебя спросить - ты, конечно, женат?

- Да, - почему-то соврал я.

- Я никогда, слышишь, никогда, - твердо сказала она, - не попрошу тебя развестись. Я просто буду ждать этого, сколько бы времени на это ни потребовалось. Такие вещи, милый мой, человек должен решать сам. Без давления. Кажется, я отдохнула. Пошли?

- Пошли.

Она вытащила руки из-под моей куртки, взяла в теплые ладони мое лицо и снова поцеловала меня. Мы никуда не пошли, а стояли в снегу и целовались.

С Василием Ионовичем Граковичем я познакомился в Волгограде, где писал материал о славном капитане саперных войск Радии Брянцеве. Радий возглавлял единственную в мире городскую службу, постоянно работавшую и имевшую двузначный телефонный номер, как "скорая помощь" или пожарники. Это была служба разминирования. Почти каждую неделю речники и экскаваторщики, огородники и строительные рабочие, водопроводная и газовая службы города, дачные пригородные кооперативы, колхозники звонили Радию, и он выезжал на места, где лопата или лом, ковш экскаватора или отбойный молоток звякал о ржавую смерть, лежавшую в земле с войны. С легкой руки журналистов слово "подвиг" давно уже утратило свой высокий смысл. Иногда о том, кто просто выходит на работу и выполняет план, пишут как о большом герое, совершающем "трудовой подвиг". Радий при мне и вправду совершил подвиг.

В районе дачного кооператива при рытье погреба обнаружили бомбу. Радий приехал. Это была совершенно целая четвертьтонная фугасная бомба германского производства. Радий стал копать - для этого у него имелся специальный, придуманный им самим инструмент: всякие маленькие лопаточки, скребки, кисточки. Бомба лежала в таком положении, что по уставу Радий обязан был ее взорвать на месте. Это означало, что будет снесено взрывом по крайней мере три дома, построенных с великими трудами пожилыми людьми. Каждая досточка, каждый кирпич были привезены сюда то на попутном самосвале, то на машинах знакомых, а то и на себе, на тачке. Район оцепили, вывели людей, но хозяева домов стояли перед солдатами и плакали. Радий пожалел этих людей. Он сам стал откапывать эту бомбу, переодевшись в старую, латаную и замызганную гимнастерку и такие же галифе, Лежа и сидя в сырой дыре, он занимался этим довольно долго - пять часов. Вывернув донный взрыватель, Радий вылез, сел на краю ямы, похожей на свежееотрытую могилу, и закурил. Потом пошел к оцеплению, чтобы обрадовать стариков, хозяев этого дома, и распорядиться насчет транспортировки бомбы. В толпе зевак и мальчишек стоял невысокий, с покатыми сильными плечами пожилой человек с фибровым чемоданчиком. Увидев в руках у проходившего мимо Радия взрыватель, он спросил:

- Донный?

- Да, - сказал Радий.

- А боковой где?

- Бокового нет.
- Как нет? Это ж НХ-2 "Грабо".

Радий почему-то стал оправдываться перед совершенно незнакомым ему человеком.

- Какая ж это "Грабо"? Никакая это не "Грабо". Это стандарт типа 252.
- Это "Грабо", сынок, не сказывай мне сказки. Я по взрывателю вижу. Там, посмотри, посередке ее идет кругом насечка косая.
- Папаша, это стандарт 252.
- Поди глянь, насечка есть?

Радий пошел к бомбе. Человек, который так был уверен, что эта бомба называется "Грабо" и никак не иначе, повернулся ко мне и сказал:

- Салага, а спорит. Хоть и капитан.

Радий вернулся довольно быстро.

- Вы сапер? - спросил он человека с фибровым чемоданчиком.
- Какой я сапер... - сказал человек. - Вот капитан Лисичкин Феликс Федорович, вот это был сапер. Когда мы освободили Павловск - ну, под Ленинградом музей, - товарищ капитан шел под камероновским флигелем по туннелю и обнаружил сам 227 мин-ловушек. Пойдем, я тебе покажу, где у "Грабо" боковой взрыватель.

Человека этого звали Василий Ионович Гракович. Никуда его Радий не пустил. Сам полез снова. Оказалось, что бомба прямо-таки лежит на боковом взрывателе и нужно ее подкапывать снизу. Когда щель под бомбой была почти готова, земля неожиданно стала осыпаться, и Радий, видя, что бомба сейчас осядет, лег под нее.

Это не было подвигом. Это было просто производственной необходимостью. Радий надеялся, что боковой взрыватель не сработает - амортизирует его тело.

Так и случилось.

Вечером мы собрались у меня в номере гостиницы, Радий все сокрушался насчет своей допущенной ошибки, а я выяснил, что Василий Ионович Гракович приехал в Волгоград и был здесь без жилья, без работы и, по моим наблюдениям, без денег. Сын его Петрушка, как он его называл, и невестка Алена, практически выгнали старика из его родного дома, и он безропотно поехал в город, чтобы здесь устроиться на работу, найти какое-то жилье. Я связался с облисполкомом, оттуда последовали телефонные звонки в район, эти подлецы Петрушка и Алена глазом не моргнули, заявили, что отец ушел из дома "по пьянке" и никто его не выгонял.

Я отправил Василия Ионовича в родную деревню, приказав ему "писать в случае чего".

Через полгода этот случай объявился. "Дорогой Павел Александрович, - писал Гракович, - сердечно и официально обращаюсь к тебе. Помоги, голубчик, всею своею справедливостью и словом. Знаю, что делов у тебя в газете до черта, однако ж призакрой глаза и вспомни нашу радостную встречу в городе - герое Сталинграде и весь мой горький рассказ". В общем, когда Гракович вернулся с войны и вследствие контузии "к польским работам был негодный", взялся он гнуть дуги. И эти дуги продавал, чтобы прокормить семейство свое - малолетнего Петрушку и Анну Ивановну, ныне покойную. С тех печальных пор воды утекло предостаточно, но теперь подлец Петрушка вспомнил эту историю и наклепал на своего отца письменным образом в прокуратуру, требуя оградить молодую семью от отца-пьяницы и

заодно привлечь его к ответу за то, что тот двадцать пять лет назад гнул на Петрушку не только спину, но и дуги. Я сам решил заняться этим делом, но в это время и со мной случилась беда. Я ушел с работы и уехал из Москвы, даже не отписав ничего Граковичу. А он, я думаю, надеялся.

Слава Пугачев еще не достиг того возраста, когда мужчину могут украсить лишь деньги, Он только взошел на перевал жизни. Какая-то фальшивая важность исходила от всей его фигуры, медлительность его была многозначительна, но за этими делами я угадывал быстроту и жестокость реакции, ясность цели и общий жизненный прагматизм. Я знал эту новую формацию тридцатипятилетних ребят, быстро усвоивших правила игры, жестоких в силе и жалких в слабостях. Они точно свершали свои карьеры, легко заводили нужные связи, не отягощали себя детьми, были воспитанны. Это были скороходы, на ногам которых не висели пудовые ядра морали. Они бежали легко и просто в полях житейской суеты, свободно ориентировались в перелесках, поросших случайными женщинами, но едва они попадали, в дремучие дубравы настоящих чувств, уверенность покидала их. В лучшем случае любовь они заменяли банальной показухой - целовались на людях и ненавидели друг друга наедине.

Со Славой Пугачевым я возился на склоне больше, чем с другими новичками: в конце смены мне нужно было кого-то выставить на ущельские соревнования новичков, и я наметил именно его. Однако мое внимание и долготерпение он воспринял как попытку навязаться к нему в друзья и что-то из этой дружбы извлечь для себя. Однажды вечером он явился ко мне в номер с бутылкой какой-то заграничной сивухи и без всякого предварительного разбега стал мне демонстрировать идеологические сокровища, накопленные им за тридцать восемь лет жизни.

- Палсаныч, - говорил он мне, посматривая в темно-коричневые недра стакана, - у меня сложилось впечатление, что вы достойны большего, нежели должность тренера на турбазе. Каждый человек складывает о другом мнение. Я пришел к выводу, что вы достаточно умный и начитанный человек. Чего вы торчите в этой дыре? Ну, сегодня одна группа, завтра другая, объятия при прощании, какие-то дурацкие лекции, утомляющее непонимание со стороны участников. Какой сыр можно накатать с этого? Не понимаю. Уверен, что и зарплата выражается двузначной цифрой. И главное - никаких перспектив! Ну, если завести здесь козу, пристройку, торговать вязаными свитерами из серебрянки, это еще можно понять. Но просто так? Хотите я вам помогу?

И Слава с готовностью хлопнул себя по нагрудному карману.

- Деньгами! - спросил я.

- При чем тут деньги? Есть вещи поважней денег. Связями, голубчик, знакомствами. Я вас могу ввести в круг нужных вам людей.

- Я не понял, - сказал я, - почему вы себя хлопнули по карману? У вас что, все связи в кармане?

- Конечно, - сказал Слава. - Эти связи я добывал упорным трудом. Пожалуй, нет сферы жизни, Палсаныч, в которую я не мог бы войти или пробиться. Я вам симпатизирую и предлагаю свои услуги. Думаю, что когда-нибудь вы оцените это.

- Вы, Слава, просто Дед Мороз, - сказал я, - но я ни в чем не нуждаюсь.

- Палсаныч, отбросим взаимные уверения в скромности и приступим. Есть предложение - нет возражений.

Он полез в карман и достал обыкновеннейшую записную книжку. То ли "Союзплодоовощ", то ли "Трактороэкспорт" - не помню.

- Чем вы занимаетесь вне гор? Профессия?

- А у вас что, на все профессии есть?

- Палсаныч, на все, уверяю вас. Профессии, предметы первой необходимости и всякие дела.

Даже удовольствия. Так какой раздел жизни вас интересует? - Меня интересует вся жизнь вообще. Ну а насчет профессий, то их у меня много.

- Может быть, вы думаете, что я занимаюсь мелочами? Зря. Я, конечно, могу организовать, чтобы вам каждый день на дом, заметьте, приносили финскую колбасу "Салями" или паюсную икру, но ведь это называется стрелять из пушки по воробьям. Конечно, и Моцарта можно научить играть в хоккей, но все же лучше пусть он играет, как писал наш Булат, на скрипке. Мы не будем размениваться. Я хочу решить ваши нерешенные вопросы. Так сказать, глобальные, стратегические, вы понимаете?

Да, я понимал.

- Любовь, - сказал я.

- Любовь, - удовлетворенно повторил Слава и стал листать записную книжку. - Любовь, любовь... буква "л"... Лак для ногтей... лапти... лекарства... лесник Сережа... - бормотал он, - литфак... лук зеленый...

- У вас по алфавиту! - спросил я.

- Конечно... лунный камень... лыжи... лысина лечение... льготы... люстры... Что-то любви не видно... А! Так это на букву "ж"! Открываем на "ж". Ж...ж... женщины. Так. Аверина Ирина, 29 лет, брюнетка. Конъюнктурный институт. Квартира однокомнатная, набережная М. Горького. Дача в Перхушково. Пьянеет от пива. Аверьянова, тоже Ирина. Главмосстрой, инженер, 32 года. Бл.-блондинка. Свободна в первую половину дня. Любит поесть.

- Слава, - спросил я, - вы женаты?

- Созрел, - печально сказал Слава. - Я считаю, что мужик может жениться, когда у него есть все. Квартира, машина, дача, деньги, связи. У меня все это есть.

- А любовь!

- Это приложится, - твердо ответил Слава. - Сейчас как раз я уехал, чтобы проработать этот вопрос.

- Вопрос любви?

- Вот именно, Палсаныч.

- Вы хотите здесь кого-нибудь найти!

- Нет, это меня уже не интересует. В меня влюбилась одна дама в Москве. Ну, выгнала мужа, квартира, машина, все на месте. Умная, вот это меня смущает. Умная - значит, хитрая. Хитрая значит, неверная.

- Ну, это не обязательно, - сказал я, - хотя и возможно. Ну и как же вы намерены этот вопрос проработать здесь? Испытание разлукой?

- Не смешите меня, Палсаныч! - Слава засмеялся и еще отхлебнул из стакана. - Какой разлукой? Что за романтика!

Его и вправду рассмешило мое наивное предположение.

- Во-первых, я уехал действительно отдохнуть, потому что я устал бороться с жизнью. Даже при моей системе это тяжело; не представляю, как живут другие. А во-вторым, я дал задание своему приятелю, Боре, познакомиться с ней. Ну, Боря - академик по бабам. От него живьем еще никто не уходил. Если он свалит ее, то привет горячий. Если она устоит, то можно продолжать переговоры. На эту операцию я отпустил Боре триста рублей. Подотчетных, конечно.

- Триста рублей? Значит, она вам нравится?

- Ну, в общем, это вариант. С ней интересно. А через две недели Боря мне доложит результаты ревизии.

- Боря, Боря... - сказал я.. - Кажется я его знаю. Такой высокий, темный, со светлыми глазами.

- Ну точно!

- Он журналист?

- Какой он журналист! - с досадой сказал Слава. - Он из "Мосводопровода". Нет, не знал я

никакого Борю из "Мосводопровода". Не знал и слава богу.

- Ну так как, Палсаныч? - сказал Слава. - Как насчет моего предложением?

- А, насчет книжки? У вас замечательная книжка, Слава. - Можно взглянуть?

- Пожалуйста.

Слава протянул мне свою записную книжку. На первой странице было написано:

"Арбузы. Мария Павловна. тел.

Архитектор Красногорского района. Дима. тел.

Авиабилеты. Бэлла. 5 р. сверху. тел.

Аспирин америк. Штурман Лева. тел.

Аборты. Люда. Звонить с 9 до 11. тел.

Арбат рест. Миша. тел.

Аркадий, достает все. тел. прям. тел. секрт."

Да, это был путеводитель по жизни. Однако я предпочитал другие компасы в этом море. Я встал, открыл балконную дверь - табачный дым стал нехотя выползать из номера.

- Спасибо, Слава,- сказал я,- я не воспользуюсь вашими возможностями.

Слава встал и, как мне показалось, был несколько ошарашен.

- Как? - спросил он.- Вам ничего не надо?

- Ничего,- сказал я, - у меня все есть.

- Может, по работе что-нибудь?

Он был даже обижен.

- Вряд ли, - сказал я. - Я работаю в органах госбезопасности.

Он на секунду замер.

- Непосредственно? - спросил он.

- Непосредственно,- сказал я.- А здесь просто провожу отпуск, как и вы.

Ну и заодно тренирую:

- В порядке приработка? - догадался Слава.

- Безусловно. Мы ж тоже люди.

- Конечно, я понимаю, все люди.

Да, Слава понимал, что все есть люди. Он в этом никогда и не сомневался. Я видел, как на его лице, чуть покрасневшем от виски, отсвечивают разные мысли - от проверки того, не ляпнул ли он а разговоре со мной лишнего, до сомнения в моей принадлежности к такому учреждению. Кроме того, как мне показалось, он не знал, что ему делать с недопитой бутылкой виски - оставить "мне или забрать.

- А вы работаете у них или у нас?- спросил Слава. - Ну, если это секрет, то я ничего не спрашивал.

Скажите, как его заинтересовало! Уж не собирается ли он внести меня в свою изумительную книжку как еще одну "связь": "Павел Александрович. Может все. тел."

- Когда как, - сказал я. - Сейчас, например, мне предстоит одна операция.

На парашюте бросают с мешком денег, но все дали рублями. Неудобно.

Слава засмеялся, понял.

- Вы шутник, Палсаныч!

- Спокойной ночи.

Я выпроводил его. Бутылку он все же оставил - побоялся взять. Я убрал со стола, помыл стаканы, поправил постель. В конце концов, какое мне дело до него? Я просто должен его подготовить к ущельским соревнованиям новичков. Вот и все. Я вышел на балкон, закурил. Все пространство перед гостиницей - поляна, выкатная гора, финишная фанерная трибуна, столь многолюдные и шумные днем, с музыкой от маршей до "Бонни-М", с автобусами, с лыжниками и "чайниками", с кручением подъемников - теперь было пустынно и молчаливо.

По-волчьи горели две желтые лампочки у верхнего подъемника. Кто-то далеко шел по дороге, и снег скрипел под ботинками. Горы, словно вырезанные из копировальной бумаги, окружали поляну.

- Паша,- тихо сказали внизу,- я ем снег.

- Я иду.

Там внизу на льдистых сугробах стояла в своей желтой курточке Елена Владимировна Костецкая.

...Мы мчались на юг, а машину нашу звали "Василиса". Она и вправду была крашена в пошловатый васильковый цвет, мята и правлена в задрипанных гаражах скоробыстрыми халтурщиками, диски колес были кое-где помяты, крылья поцарапаны ключами проходивших мимо нее москвичей и гостей столицы, однако мотор был мытый, масло нигде не текло, цепь не болталась, все было подтянуто и никак не гремело. На подъемах Василиса не жаловалась, высоко ревя, а урчала, как кошка. Когда Лариса сидела за рулем, она время от времени поглаживала руль и, впадая в смертный грех анимизма, приговаривала: "Василиса ты моя, Василиса, Василиса ты прекрасная, ты не смотри, что одежда у тебя царапанная, зато душа у тебя чистая, мытая-перемытая моющим маслом, карбюратор отрегулирован, компрессия замечательная. У какой девочки еще есть такая компрессия? Ни у какой. Только вот бабы мы с тобой, достался нам обоим любимый мучитель Пашка, жмет он тебе на педаль дроссельной заслонки без всякой пощады, а меня редко пускает за руль. Ты потерпи, моя дорогая, скоро мы с тобой приедем к морю, море теплое и красивое, ты отдохнешь - помоешься, а с Пашкой я расправлюсь, ты не беспокойся. Пашка на других девочек посматривает и на "Жигули 2106", и на толстозадых в белых джинсах..." Так, жалуясь и сплетничая, она вела машину, то поглаживая Василису по рулю, то поглаживая меня по колену, то мельком заглядывая в зеркало заднего обзора и поправляя волосы. Мы ехали не быстро, расхаживали по тихим улицам города Обоянь, валялись в травах негустых южных перелесков, ночевали в лесополосах, где шуршали ежи и играли на своих скрипочках сверчки. Обычно Лариса выпрашивала у меня руль рано утром, Сизые тучи висели над синеющими горизонтами, с холмов далеко была видна дорога, пропадали печали. Отдохнувшая за ночь Василиса бодро рассекала слои воздуха, то холодноватые от реки, то нагретые асфальтом и еще не разогнанные трайлерами, то чистые и свежие, вышедшие на дорогу из предутренних лесов. В эти часы чаще всего мы молчали, как молчат и не аплодируют в консерватории между аллегро и анданте. Однажды, когда ранним утром где-то в донецких степях Василиса вынесла нас на холм и сразу нам стал виден весь здешний мир, мы разом ощутили то, чему нет названия, но это не важно, от этого оно не становится хуже. Мы ощутили себя людьми. Это очень важно - когда-нибудь да понять, что ты - человек. Мы неслись с холма, перед нами была огромная долина, полная просыпающихся белых хуторов. Слабой сталью блестела вдали речка. У обочины дороги стоял мальчик с велосипедом и смотрел на нас.

- Зверь,- сказала мне Лариса,- ты знаешь, это больше никогда не повторится. Это утро, и то, как ты глядишь, и то, как я говорю, и этот мальчик с велосипедом. Зверь, это - счастье.

Шоссе было влажное, и она переключила двигатель на третью передачу.

- Я никогда тебя не разлюблю, - добавила она. - Ты будь готов к этому. Навстречу нам по пустынному шоссе неслась, поднимаясь в гору, такая те томно васильковая машина, и там сидели двое людей мужчина и женщина. Женщина вела машину,

- А вот мы с тобой, - сказала Лариса, - возвращаемся с юга, загорелые, отдохнувшие, забывшие все и теперь печальные, что возвращаемся к тому, от чего убежали. Только Василиса рада, что она возвращается на станцию техобслуживания, где ее немножко подлечат после дороги. Правда, Василиса? Мы промелькнули мимо нас и так и не узнали, печальные мы возвращаемся или радостные. Ясно было только одно, что мы, включая Василису, - живы. И все это было правдой. Это никогда не повторилось. Не повторилась ни дорога, ни любовь, ни мальчик с велосипедом. Все было правдой. Правдой стал даже обман.

Я с какой-то тайной недоброжелательностью ждал, что Елена Владимировна, идущая рядом со мной по ночной дороге и так хорошо прижимающаяся к моей руке теплым боком, рано или поздно скажет - расскажите о своей-жене. Вот тут и все. Я, конечно, начну рассказывать, а она, конечно, станет слушать, но колесо уже будет спущено, ехать нельзя. Она должна была об этом спросить - так бы поступило большинство женщин. Однако я не хотел, не желал этого, это было бы банально, и она должна была чувствовать это. "Моя женщина" никогда бы об этом не спросила. Я с бессильным страхом ждал этого вопроса, но она его не задавала. Это меня и пугало. Чем больше я говорил с ней и видел ее, тем все больше убеждался, что мы совпадаем во всем, чего бы мы ни касались. Это было сравнимо с тем, как море отражает небо, а небо отражает море. Иногда она говорила то, что только что собирался сказать я. Иногда она шутила так, как я бы никогда не пошутил, но ее шутки были точнее и глубже моих. Она никогда не кривлялась и не врала. Одного этого было достаточно, чтобы с нежностью относиться к ней. Я подставлял этому солнцу то один, то другой бок своей настрадавшейся души, и оно грело меня и не заходило за гору. И никакие проверки мне не требовались, и никакой коварный академик Боря из "Мосводопровода" никак не требовался мне. Я все видел сам. Я приближался к любви, она росла на моих глазах, как бетонная полоса перед заходящим на посадку самолетом.

Бревно спустился ко мне из своего кафе - помыться. Он делал это исключительно громко, фыркая и крикая, заглушая шум душа различными восклицаниями, а также громогласным пением, к которому у него, впрочем, не было приложено никакого музыкального слуха. Был понедельник, выходной день, профилактика канатных дорог. В грохоте, который издавал мой моющийся друг, я прослушал не очень громкий стук в дверь. В номер вошел интеллигентный, в шляпе пирожком и при дубленке сухощавый мужчина, пребывавший уже в том возрасте, который следовал непосредственно за молодостью. В руках у него был небольшой кейс-дипломат, и, вообще, всей своей прекрасной внешностью он напоминал мне где-то виденную рекламу первого национального банка Америки.

- Привет! - как-то весело сказал он. - Я - Саша.

- А я - Паша! - так же весело счел я нужным ему ответить.

Мы пожали друг другу руки, он сел на стул, положил свою шляпу на стол и закинул ногу на ногу. Он молчал и лучезарно улыбался мне, словно был-вызван лично мной по неотложному делу и, преодолев тысячи миль, ускользнув от погонь и прорвавшись сквозь засады, доставил мне то, о чем я его срочно просил самого себя.

- Я думал, что вы совсем другой, - наконец сказал Саша, не переставая лучезарно улыбаться,

- такой супер-инструктор с квадратными плечами, с гладкими твердыми щеками, которые отполированы поцелуями туристов.
- Вы мне льстите даже в предположениях обо мне, - сказал: я Саше.
- Павел, по отчеству? - спросил Сажа, учтиво склонив голову.
- Паша, - ответил я.

Саша встал, прошелся по моей клетушке, потрогал руками кровать.

- Не скрипит? - спросил он с улыбкой.
- Это зависит от силы нажима, - ответил я, и холодная лягушка недобрых предчувствий стала забираться ко мне на грудь, царапая кожу мокрыми лапками.
- У меня есть приятель, - сказал Саша, продолжая улыбаться и присев на край кровати, будто пробуя ее прочность, - ленинградский инженер. Он сильно подозревал, что его жена, милейшее создание, по ленфильмовской кличке Вина-Слон, интенсивно изменяет ему. Он подозревал, а весь Ленинград об этом просто знал. Мой приятель, имея склонность к различным техническим утехам, решил проверить это дело инструментально. Он купил в спортивном магазине шагомер и подвесил его под кровать. С методичностью исследователя он замерил показания шагомера по двум величинам - когда они проводили ночь без любви и когда с любовью.

Я внимательно слушал рассказчика, быстро прикидывая, не лежит ли у него в кейса-дипломате вместо тугой пачки акций первого национального банка Америки какой-нибудь девятизарядный "Смитт энд Вессон".

- Уехав в командировку на Новую Землю, - продолжал Саша, - мой приятель тайно подвесил шагомер под кровать. Когда он вернулся и снял показания, он понял, что Вика-Слон не просто изменяла ему, но в семью наведывались поквартально.
- Она должна была быть более наблюдательна, - сказал я. Его подходы к теме таили какой-то подвох, и мне хотелось скорее выяснить, что это за подвох.
- Наблюдательна! - воскликнул Саша. - Речь шла о таких моментах, когда пропадает не только наблюдательность, но и сами принципы!
- Я понял, что у вас ко мне дело, - сказал я.
- Пустяковое, - сказал Саша. - Я вас несколько не задержу, тем более что через полчаса у меня автобус в Минводы и обратный билет в Москву. Собственно говоря, я просто прилетел, чтобы посмотреть на вас. Вот и все. В это время в номер вошел Бревно, потирая свою мохнатую грудь цветным полотенцем. Шея и голова моего друга выглядывали из волосатого торса, как из зарослей.
- Нет, Бревно, ты все-таки последним с дерева слез, - сказал я.

Войдя в номер, Бревно сощурил близорукие глаза, отыскал очки и в этом виде уже стал менее напоминать гориллу.

- Я знал кочегара, - сообщил нам Бревно, - по фамилии Алкалин. Он был действительно алкаш и без одной ноги, на деревянном протезе. Представьте себе, что он дважды попадал под трамвай и оба раза трамвайные колеса переезжали его деревянный протез и ему приходилось заказывать новый. Вот вред пьянства? Вы здесь еще не разлили?
- Серый, - сказал я, - выдь. У меня конфиденс
- . - "Конфиденс!" - передразнил Бревно. - Слова-то какие вы знаете заумные! Друг называется! Мокрого человека выпихнуть в коридор прямо в лапы морально неустойчивым туристам!

Бревно напялил на тело, которое невозможно называть голым из-за обилия волос, пуховую куртку и вышел.

- Вообще-то, - сказал Саша, едва закрылась дверь, - я прилетел предупредить вас. Я думаю, что это будет честно.

- В чем же ваше предупреждение? - спросил я.

Мой банкир открыл кейс-дипломат и достал оттуда вместо ожидаемого "Смитт энд Вессона" обыкновенный кассетный магнитофон. Пленка была установлена на нужном месте, и, едва Саша нажал клавишу, из магнитофона донесся молодой женский голос: "Это я. Ты можешь сейчас же посмотреть в окно?.. Ну хорошо, ну на секунду! Ты посмотри, какой закат! Как перед концом света! Как будто солнце кричит..."

- Остановите! - сказал я. - Я не читаю чужих писем!

- Но вы ведь не услышали главного, - изумленно сказал Саша. - Нет, достаточно. Вы что, установили подслушивающее устройство?

- Я сам сидел на антресолях два дня! - обиженно сказал Саша. - У нас старая квартира, очень высокие потолки... и антресоли... понимаете... Но это ведь не асе! - Он почти кричал. - Я фотографировал их! Технически это было довольно сложно? Я работал почти месяц!

У него дрожали руки, и он совал мне в лицо какие-то фотографии, на которых были то чьи-то неясные белые бедра, то часть спины.

- За два дня, - кричал он, - они были вместе пять раз! Да и шагомер подтверждает! Вот смотрите: эти колесики - десятки, эти - сотни, а эти - тысячи! Я нарочно не трогал эти показатели, чтобы когда-нибудь в решительный момент... вы не думайте, что кто-нибудь об этом... вы - первый, потому что мой долг предупредить... ни одна душа об этом... вы понимаете! Только вот фотографии вышли не очень... но экспертиза, безусловно...

Он суетился и все доставал из кейса-дипломата свои несметные сокровища: письма, записки, какой-то носовой платок, маленький кулечек, из которого он высыпал на стол кучку мелко нарезанных черных волос.

- Он даже брился моей бритвой "Эра-10"!

Я вдруг представил себе этого несчастного, который в своей собственной квартире, тайно, в пыли и темноте вонючих антресолей, боясь чихнуть или произвести какой-нибудь иной шум, сидит двое суток! Это ужасно меня рассмешило! Да я бы на его месте... Я продолжал в душе смеяться, однако странная мысль постигла: меня, прекратив веселье. А что я на его месте! Разве я не был на его месте? На антресолях, правда, не сидел. Но стоял на проспекте Вернадского. Стоял. И было очень ветрено.

- Как же вы просидели двое суток? - спросил я. - Вы что-нибудь ели?

- Да ну при чем тут это? - с досадой сказал Саша, сидя перед разложенными на столе сокровищами. - Конечно, ел. Я же готовился.

- А как ходили в туалет?

- У меня там было полно пустых кефирных бутылок, - ответил он. - Вообще, если вы интересуетесь, я могу вам сообщить все технологию. В сущности, это очень несложно. У нас на кафедре...

- Вы что преподаете? - перебил я его.

- У меня спецкурс, да это неважно. Поймите, Паша, вы можете стать такой же жертвой, как я! Мой поступок благороден! Вы с ней уже спали?

Я встал.

- Свидание окончено, как говорят в тюрьмах, - сказал я. Убирайтесь.

Саша грустно поднялся, стал складывать в свой кейс-дипломат многочисленные улики. Взял свою шляпу. Ну, выругайся он сейчас, ударь меня, плюнь, я, ей-богу, зауважал бы его.

- Ужасно все сложилось, - сказал он. - Перед этим я ей купил кольцо за триста восемьдесят четыре рубля... Представляете? Заплатил за полгода за телефон, реставрировал мебель... тут как раз пиджак замшевый подвернулся... и вот все это... Представляете!... Я улетаю от вас с чистой совестью, - сказал он в дверях, - потому что я вас предупредил. Скажите, нет ли тут у вас черного хода? Мне не хотелось бы встречаться с Елкой.

- У кого чистая совесть, - сказал я, - тому на нужен черный мод.

- Безусловно, - ответил он, но все же, открыв дверь в коридор, сначала высунул туда голову, а потом и вышел весь. С балкона я увидел, как он, нацепив большие черные очки и нагнув голову, скользя на ледяных ухабах, неся к баксанской дороге. Противовесом служил ему кейс-дипломат, полный вражних, уже абсолютно недействительных векселей.

Вернулся обиженный Бревно и стал сразу молча доедать из банки шпроты, открытые, кажется, позавчера.

- Что за секреты! - говорил он, жуя. - Что за конфиденс? Кто это?

- Это муж Елены Владимировны Костецкой, - сказал л.

- Не более-не менее! И что он? Приезжал с кинжалом?

- Он большой ученый, - сказал я.

- "Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно, Бедная Инеза" - процитировал Бревно и завалился на мою кровать, утирая рукавом грязной куртки масляный рот.

- Он тебе хоть съездил кейсом по фейсу? - спросил Бревно из глубин моей, привлекшей такое внимание гостя кровати.

- На за что, - ответил я.

- Пашуня, я вот не понимаю, ну что у нас за народ? - начал Бревно. - Вот я у себя в храме... - когда-то МГУ величали "храм науки", и Бревно иначе, как "храм", свое заведение не называл, ... нанял двух стеклодувов. Мне нужно прибор выдуть такого сложного профиля и трубки разного сечения... ну, в общем, тебе этого не понять. В первый день пришли оба сильно под газом и сразу стали требовать аванс. Я им говорю: "Парни..."

Я вышел на балкон. Через открытую дверь Бревно все рассказывал про пьяниц-стеклодувов. Да, я однажды стоял на обдуваемом всеми ветрами проспекте Вернадского. И простоял, кажется, подряд часов пять. Цель моего стояния была высока и чрезвычайно благородна - подсмотреть, с кем из-под тяжело нависшей арки двора, который два года был моим, выйдет Лариса. Я представлял ее со счастливой улыбкой на лице, а своего соперника черноволосым, с непокрытой головой и почему-то в кожаном пальто. Они выйдут, и я тут же... Что я? Что я должен сделать? Я не знал. А, лежа дикими бессонными ночами, разве я сам не создавал в своем воображении картины, которые прямо-таки иллюстрировали Уголовный кодекс РСФСР? Разве не я приходил в ужас оттого, что в моем собственном мозгу находились нейроны, способные на обдумывание подобных злодейств? Слава богу, прошло время этих безумств, и теперь мне спокойно и грустно висеть на витрине, как шкуре серого волка, в "магазине убитых"...

Под окнами, блистая заграничными доспехами, шел Джумбер. У него сегодня выходной, и он наверняка направлялся в бар.

- Привет, Джумбер! - крикнул я ему. Он остановился.

- Привет, Паша! В баре, туда-сюда, будешь?

- Обязательно, - сказал я.

Нет, я все же предпочел бы этого дикого насильника своему недавнему гостю, домашнему

шпиону.

Тут на балкон вышел Бревно.

- ... и в итоге этот самый Мышкин в тот же самый вечер при выходе из вагона метро ломает себе обе ноги! Ну это ж надо так напиться!

- Ужасно! - сказал я.

Я посмотрел в свою комнату. Там на столе, заляпанном маслом от шпрот, было еще, казалось, теплое место, на котором только сейчас лежали письма, фотографии, магнитофон... Ужасно! Ой, как ужасно!

- Бревно! - сказал я. - Ну какая же ты свинья! Ты посмотри, что ты наделал на моем столе! Возьми тряпку, доктор наук, пропащие народные деньги, и вытри насухо стол. Чтобы и следа не осталось!

- Господи, - воскликнул Бревно, - какое событие! Пришел муж! Ну и что! В меня из берданки один придурок стрелял, и то я так не нервничал!

Мы оба навалились на стол и оттерли его начисто.

...Когда, задыхаясь от ветра и неопишуемого счастья, летишь вниз по волнистым склонам Эльбруса не просто зная, но и чувствуя, что в любую секунду ты можешь остановиться, отвернуть влево или вправо с точностью до сантиметра, что ты владеешь своим телом и что с медленно плетущейся по синему небу гондолы подъемника ты выглядишь как несущийся болид, - начинаешь понимать, что сорок лет - не так уж если разобраться, много. Весть о том, что наше тело смертно, застает нас в раннем детстве, и всю последующую жизнь мы никак не можем смириться с этой очевидной истиной. Повзрослев, мы обнаруживаем, что у нас есть сердце, печень, суставы, почки, что все это может биться, гнущься, ломаться и всячески портиться. Мы начинаем вслушиваться в глубину своего тела, более далекого, чем космос. Мы видим, как игла шприца входит в нашу вену, и понимаем, что мы есть не что иное, как хитроумнейшее соединение трубопроводов, насосов, клапанов, фильтров, и что Тот, кто создал нас, был вынужден заниматься сопротивлением материалов, теорией трения, деталями машин, гидродинамикой, механикой, акустикой, волноводами, оптикой и еще тысячами элементарных и сложнейших наук. Мы не знаем, как там с душой, но тело нам дано всего один раз. Тайным, рудиментарным знанием мы понимаем, что это тело предназначено для постоянного и энергичного движения, бега, прыжков, всяческого преодоления. Однако мы проходим мимо этого с равнодушием лениво зевающего мужа, уткнувшегося в вечернюю газету и давно уже не замечающего, как прелестна его давно женою ставшая жена. Иногда нам кажется, что вот когда-то наступит раннее утро, мы выбежим на поляну, вымоемся по пояс ледяной водой и начнем новую жизнь. Нет, ничего этого не происходит. Мы тянемся к различным стимуляторам, заменителям, возбуждителям, угнетателям, и наше тело в ужасе пытается компенсировать всю эту дрянь, избавиться от нее. В конце концов оно начинает протестовать, но мы даже не в состоянии правильно истолковать эти истошные крики, снова заглушаем их химикатами, варварской едой, бездеятельностью, бесконечными валянием и лежанием. Мы начинаем бояться своего тела, ожидая от него одних лишь неприятностей. Это глубокое непонимание, возникшее в результате спешки, лени, легкомыслия, мы начинаем называть старением. Сначала в шутку, напрашиваясь на комплименты. Потом уже без всяких шуток, с тревогой. Поэтому только в зрелости человек начинает неожиданно понимать, что одна из самых светлых радостей жизни радость владения своим телом, радость легких ног, не скрипящих суставов, взбегания по лестнице, радость глубокого вдоха.

Горные лыжи ставят нас в невыносимые обстоятельства. Они срезу требуют, чтобы тело было легким и сильным, реакция - быстрой, глаз - точным, мышцы - неустанными.

Помилуйте, да где же это все взять?! И еще - все сразу! Однако представьте себе - приходится доставать. И не по частям - все сразу.

Так, несясь по склонам Эльбруса, куда я привез своих новичков, чтобы они хоть раз смогли увидеть несказанную панораму Главного Кавказского хребта, я думал о том, что сорок лет - еще не финиш. Надежды не покидают человека ни в каком возрасте, но в сорок лет надежды еще не безнадежны. Сзади меня катила Елена Владимировна, встречи с которой счастливо избежал муж и чьи белесые нерезкие бедра, изображенные на фотографии, он мне совал под нос в качестве доказательства собственного благородства. Чем больше я общался с Еленой Владимировной, тем больше поражался всяким ее совершенно редким и разнообразным дарованиям. Например, она была удивительно тактична. При несомненной радикальности ее взглядов на наше с ней будущее она никогда не навязывала себя. Она уходила ровно за секунду перед тем, как мне приходила мысль остаться одному. Она не вскрывала никакие раны, а если уж и подходила к опасным местам, то с осторожностью сапера огибала мои болевые точки. Я мысленно благодарил ее за это, а благодарность подобного рода - самая твердая валюта человеческих отношений.

... Иногда я прибавлял скорость и уезжал вперед, чтобы посмотреть, как спускается мое отделение, а заодно посмотреть на Елену Владимировну. В трудных местах, на ледовых буграх или крутяке, отделение мое частенько падало в полном составе, будто скошенное снизу пулеметным огнем. Одна Елена Владимировна да Слава Пугачев пробивались сквозь эти трудности, подъезжали ко мне. После известного разговора Слава держался от меня на некой дистанции, однако позволял себе скромные шутки: "Палсаныч, а в стрельбе нужно тренироваться каждый день?" или "Вы что предпочитаете - самбо, каратэ или джиу-джитсу?" Я понимал его. Шутя таким образом, он рассчитывал, что я так или иначе выдам себя и таким образом решится вконец измучивший его вопрос. Но я отшучивался, чем, надо признаться, усугублял муки собирателя замечательных телефонов. Странна, но я иногда ловил себя на том, что тайно завидую ему - как хорошо этот человек устроился в жизни, как незамысловато, но просто и легко он думает об этом мире и живет в нем...

Надо сказать, что руководимый мною маленький коллектив в общем-то сплотился. Я с удовольствием наблюдал этот процесс и образование атмосферы всеобщей доброжелательности, милой моему сердцу. Даже супруги А. и С. Уваровы, совершенно не приспособленные к спортивным занятиям, не стали загоральщиками, а тихонько и с упорством постигали премудрости горнолыжной техники. Супруг был, как выяснилось, "РП", то есть руководителем полетов, на большом московском аэродроме, а его жена Тоня диспетчером. Когда они разговаривали, можно было слышать многие специальные термины: "Тонь, вот посмотри-ка у нас на траверзе какая гора. Я думаю у нее эшелон так под четыре тысячи". "Сейчас мы с тобой поедem по правой рулежной дорожке!" Когда мы после занятий подходили к гостинице, "РП" неизменно говорил: "Стоянка. Конец связи". Вообще они были милые и тихие люди и действительно отдохали после своего аэропорта, который они называли не иначе, как "сумасшедший дом". Оба "реактивщика" искренне отдохали от своих жен, жили большой наполненной жизнью - ходили за нарзаном, танцевали, смеялись, были членами многочисленных компаний, прогуливались с девушками, покупали шашлыки - словом, участвовали во всем. Самое большое удовольствие доставляла мне Галя Куканова, проявившая легкое внимание к теоретику Барабашу и таким образом избавившая меня от его нескончаемых попыток ввязаться в спор.

...Они остановились возле меня. Слава, переводя тыкание, сказал:

- Я слышал, что есть такие пуленепробиваемые рубашки.

- Жилеты, - поправил я, - Ну и что?

- Очень хорошо бы в них на лыжах покататься. Сейчас так приложился - кошмар! А был бы жилет - порядок. Палсаныч, трудно достать?

- Трудно, Слава.
- Но ведь нет ничего невозможного!
- Однако есть маловероятное.
- Разговоры мужчин! - сказала Елена Владимировна. - Они всегда загадочны. - У меня стало складываться впечатление, - сказал Слава, - что, когда мы остаемся втроем, и шеф и вы, Лена, довольно нетерпеливо ожидаете, чтобы я отъехал.
- Что ж вы не отъезжаете? - спросила Елена Владимировна.
- Сейчас?
- Ну хотя бы. Если у вас такое впечатление?
- Вы зря на меня, - сказал Слава. - Вы даже себе не представляете, как я уважаю истинные чувства.

Он действительно отъехал от нас и обиженно закурил в стороне.

- А у меня такое впечатление, - сказала Елена Владимировна, - что за вчерашний день с тобой что-то произошло.
- Почему ты так решила?
- Ты как-то стал смотреть на меня по-другому. Да и вообще, "почему" - смешной вопрос. Я чувствую. Я такой сейсмограф, что иногда удивляюсь сама.
- Да, произошло. Но я не хотел бы говорить тебе об этом сейчас.
- Хорошо. Скажешь, когда сочтешь.

Да, она была очень проницательна, Елена Владимировна Костецкая, голубоглазый прекрасный человек. Как же так случилось, что ее тонкий сейсмограф никак не среагировал на грубые подземные толчки с антресолей ее собственного дома? Мне это было непонятно.

Коля Галанов вплыл со стороны кабинетов в большой зал ресторана так, как всплывают из-за морского горизонта в поле нашего зрения важные корабли, медленно и по частям. Его стальные плечи, имевшие сходство с ножом бульдозера, не спеша гнали перед собой все, что встречали на пути: воздух, звуки, космические лучи. Если бы он прошел сквозь столики, где сидели люди, то за ним, как за кормой ледокола, осталось бы поле битого льда, обломки стульев, смятые столы. Был одет Коля незатейливо - в домашних шлепанцах, в старых джинсах и в маечке с лыжником, летящим по буграм согласно всем правилам Французской техники глубокого приседа назад. Казалось, лыжник сгруппировался для того, чтобы ловко перепрыгнуть с одной Колиной мышцы на другую, бугрившуюся под майкой. Коля медленно шел к оркестру, который орал, подпрыгивал: "Пора-пора-порадуемся на своем веку!" - внимательно разглядывая сидящих за столиками. То ли искал кого, то ли искал, к кому придраться. Заметив меня, он лениво поднял руку, но, разглядев сидящую рядом Елену Владимировну, превратил это поднятие руки в вялый, но все же галантный полупоклон.

- Когда восходит луна, - сказала Елена Владимировна, - из-за зарослей камыша на речной берег выходят тигры.
- Это Коля Галанов,- пояснил я. - Он знаменит, как Эльбрус.

Могло показаться, что Коля вечно жил здесь, в зальчике ресторана, всегда ходил в шлепанцах, в маечке с лыжником, с твердым лицом цвета старого кирпича, с маленькими, как ягодки, просветленными голубыми глазками. Но неправда это, не всегда он был здесь. Был он когда-то парнем невиданной даже среди горнолыжников смелости, королем скоростного спуска, многократным золотым чемпионом страны. Теперь его железные ноги, державшие когда-то чудовищные удары ледовых трасс, направляли его к ресторанному оркестру. Коля в простецких выражениях заказал: "Есть только миг, за него и держись" - и, стоя возле оркестра, слушал это произведение, обдаваемый могучими децибеллами, которые, впрочем, в кромки разбивались о его спину. Но когда дело дошло до последнего куплета, Коле передали микрофон, и он исполнил куплет лично. Однако вместо слов: "Есть только

миг между прошлым и будущим" - Коля спел: "Есть только миг между стартом и финишем, именно он называется жизнь".

Не выступал Коля на соревнованиях уже лет десять, был тренером большой команды. Я знал кое-кого из его ребят - они ходили трассы "коньком", а для этого нужно иметь некоторую отвагу в сердце. Одного Колиного ученика - Игоря Дырова - знал уже весь горнолыжный мир. Впервые и по-серьезному он обыграл всех мировых звезд, и только отсутствие рекламы и слабый интерес в нашей стране к горным лыжам не позволили ему стать национальным героем. Будь он каким-нибудь австрияком, его именем называли бы улицы.

- Песня исполнялась для моего др-руга Паши и для его спутницы, - объявил Коля в микрофон.

Прекрасно. Я становлюсь ресторанной знаменитостью. Я поклонился Коле и оркестру. Ударник пробил на барабанах нечто триумфаторское из района провинции Катанга.

- Какое удобное слово - "спутница", - сказала Елена Владимировна. Подруга, любовница, жена друга, товарищ по работе - все спутница. Очаровательно. Все-таки надо признать, что ресторанный язык хоть и уныл, но функционально точен. Я думаю, формул двадцать существует, чтобы познакомиться и договориться. Слушай, Паша, твой др-руг, по-моему, идет н нам.

Коля действительно направлялся к нам. Когда-то очень давно, так давно, что этого, возможно, и не было, выступали мы с ним в одной команде. Теперь от этой команды, от тех времен деревянным австрийских лыж, бамбуковых палок и шаровар, трепетавших под коленками на спуске, осталось всего ничего. Кто разбился, кто доктором наук стал, кто бесследно пропал в необъятных просторах нашей огромной страны, первой в мире железнодорожной державы... Согласно правилам ресторанный "хорошего навета", Коля встал перед Еленой Владимировной, сдвинув пятки вместе, и, кивнув, произнес:

- Раз-решите!

Елена Владимировна кивнула. Я не видел Колю лет пять или шесть.

- Как меня обидели, Паша, как обидели! - сказал Коля, и голубые ягодки его глаз, как ни странно, заблестели от наворачивающихся слез. - И Юрка Пименов промолчал, и герой наш положил меня и ноги об меня вытер, как об коврик. Паша, что у меня есть за душой? Память, старые медали, ФЗО и Нинка. Ну каким же нужно быть человеком, чтобы меня терпеть! Разлом большой берцовой, перелом бедра, три сотрясения мозга... Нинку из роддома забирают родственники, и она всем объясняет, что у мужа ейного нон-стоп в Бакуриани, и никто из родственников не может понять, что такое этот нон-стоп и почему отец ребенка Коля Галанов не может подъехать на пару минут к роддому и взять на руки дочку. Зачем мы жили, Паша? Сборы, сборы, соревнования, Россия, Союз, ЦС, Кубок Хибин, Кубок Татр, приз первого снега, серебряный эдельвейс, гонка, гонка. И что? И куда я приехал? Глянул в зеркальце - старик.

Коля говорил тихо, но резко, не жестикулировал, только вилкой случайно поигрывал.

- Потом пришли эти... наша смена, надежда. Я говорю: "Ребята, я лыжам жизнь отдал, я хочу все вам отдать, что у меня есть. Спрашивайте, учитесь, не езжайте там, где ездили мы, старики. Мы свое отборолись, отломали, получили". Когда я взял команду, я их всех повел в ресторан на стадионе "Динамо" - не пить-гулять, а в полуподвал. Там один заслуженный мастер спорта, хоккеист, тогда работал: катал снизу бочки с пивом, ящики носил, подметал. Когда-то он защитник был бесподобный. Я сказал им: "Смотрите, парни, девушки, не

профукайте свою жизнь. Я отдам вам все, глотку буду за вас грызть кому хочешь, но вы, дорогие, смотрите. Есть спорт, есть жизнь, есть папа с мамой, есть деньги машины - квартиры, есть этот вот защитник... Шурупьте. Бог вам кое-что дал, ноги-руки. Что он недодал, я вам приставлю. Особенно голову". Что они стали требовать? Китсбюль, Сан-Антон, Шамони. Они ухватили главное в жизни и тащили оттуда всю эту муру: магнитофоны для машин, кожпальто, вельвет... А я? Я дочку по три раза в год видел, Нинка все мозги прокомпостировала - давай мол, вспашем огород на даче, я с брательником триста кустов клубники посадила. Но я уже тогда делал ставку на нашего героя, увидел его мальчуганом в Крылатском, взял к себе, глаза мне его показались... как у рыси глаза. Я тянул его, тянул, берег от всего. из мальчиков в юноши, из юношей в сборную клуба. Десять лет, Паша, я отдал этому спортсмену. Конечно, я гонял его жестоко, что и говорить... Мы работали на снегу по восемь-девять часов в день. Все думали, что я готовлю чемпиона страны, но мне был нужен чемпион мира. Не меньше. Я отдал его в сборную Союза, и уже через полгода он стал третьим лыжником мира...

Здесь лицо Коли напряглось и его короткие пальцы стали мять вилку, легко производя из нее кольцо.

- А он везде заявлял, что воспитал его... Серега...
- Это второй тренер сборной, - пояснил я Елене Владимировне.
- Он три раза заявлял об этом... и ихним и нашим... Паша, я в первый раз после этого слег - с сердцем него-то стало, лежал, и температура даже была...

Тут мелкие слезы покатались по кирпичному Колиному лицу и стали падать на стол, на лыжника на майке.

- ...воспитал... Серега... - всхлипывал Коля. - Тот и в глаза его не видел... Паша! Я десять лет его как сына, ну как сына... я любил двух людей - его и Нинку... Убил он маня, Паша, просто убил.

Здесь я заметил, что со стороны кабинетов к нашему столу подходит высокая, крупная женщина. Она подошла к Коле сзади, положила на плечо большую руку и, как мне показалось, выпустила слегка когти.

- Николай Дмитриевич! - сказала она. - Опять ты рассказываешь, как тебя обидели? А тебя, между прочим, ждут.
- А у меня, Паша, - сказал, совершенно не обратив внимания не подошедшую женщину, Коля, - у меня триста кустов клубники.
- Это замечательно, - ответил я.
- Курнем? - спросила женщина, одновременно с вопросом вынимая из пачки, валявшейся на столе, сигарету.
- Безусловно, - ответила Елена Владимировна.
- Коля, - сказала женщина, - там тебя ждут, я тебе говорю как врач.
- Вы медик? - спросил я.
- Я из бюро путешествий и экскурсий, - ответила она, - но часто говорю, как врач.

Коля стал подниматься.

- Зин, - сказал он, обнимая свою спутницу и одновременно, надо заметить, опираясь на нее, - "есть только миг между стартом и финишем..."
- Ладно тебе с этим мигом, надоел, - сказала Зина, легко принимая Колю на себя и оттягивая его таким образом от нашего стала. Коля, уже почти подчинившийся чужой воле неожиданно встрепенулся, разъял могучие объятия представителя бюро путешествий и экскурсий и, опершись на стол, спросил меня:
- Паша, но ведь триста кустов клубники - это опора?

- Нет, Кола, - сказал я, - это не опора.

- И вы так думаете, чистый человек? - спросил Коля Елену Владимировну.

- Я думаю еще хуже, - ответила она.

Не том и окончилось наше свидание. Коля и его спутница удалились в сторону кабинетов. Оркестр "по просьбе Василия из Урюпинска" снова заорал, подпрыгивая: "Пора-пора-порадуемся на своем веку!"

...В тот ужасный вечер, когда я связывал стопки книг, прижимая их коленом, когда бросал в рюкзак вешалки с рубашками вперемежку с горнолыжными ботинками и папками с рукописями и не слышал ничего, кроме стука собственного сердца, разрывающего горло, моя Лариса выбрала себе наблюдательный пункт на нашей кровати, сославшись на головную боль. Иногда я не находил какой-нибудь папки и подчеркнуто спокойным голосом спрашивал, где бы она могла быть, и Лариса спокойно и мило указывала, где бы, по ее мнению, могла быть та или иная папка с бумагами. Во время всего этого кошмарного процесса она что-то писала в нашем "семейном" альбоме, который мы специально купили для того, чтобы записывать туда телефоны, всякие мелочи, домашние дела или обмениваться записками. "Малыш, я в редакции, потом в 4 часа рулю к Бревну в храм, оттуда позвоню. Тебе звонили какие-то инкогниты и вешали трубку. Привет". "Зверь! Тебе сегодня: помнишь меня, не смотреть по сторонам и работать. Второе: купить творог нежирный два пакета по 22 коп., булку барвихинского хлеба и курагу на рынке от твоего давления. Днем позвони Татьяне Леонидовне и вежливо поздравь ее с днем рожд. Василиса жаловалась мне, что у нее скрипят тормоза, хорошо бы найти такого мужч., который бы залечил нашу девочку, Цел. и люб. Я сегодня на натуре, пишу эскизы с Борей на бульваре у Никитских, обедаем в домжуре. Если сможешь - прирули. Снова цел. и люб.". "Малыш, у меня осталась трешка. Дай хотя бы на заправку. Привет через хребет". Теперь в этот альбом Лариса что-то писала, пока я собирал вещи. Месяца, кажется, через три я получил письмо. Конверт был без обратного адреса. Сомневаюсь, чтобы сама Лариса из каких-то садоистальных соображений прислала мне эти три странички из альбома. Скорее всего это мог бы сделать либо отвергнутый любовник, либо тайно ненавидящая ее подруга, либо пошутили случайные гости. Оказывается, когда я собирал вещи, содрогаясь оттого, что кончилась мояжданная всю жизнь любовь, Лариса вела репортаж. Это было написано именно в жанре репортажа.

"От меня уходит человек, с которым я прожила два с половиной года. Он связывает свои книги бельевой веревкой. Все слова уже сказаны, говорить не о нем. Я вижу его напряженную спину. Он увязывает в старую простыню свою пишущую машинку. Потеет. Ему сорок лет. Никаких чувств, кроме чувства жалости, я к нему не испытываю. Конечно, в сорок лет начать новую жизнь и создать новую семью очень трудно, да и вряд ли ему это удастся с его характером и возможностями. В его годы люди уже ездят в "Чайках". Я вижу, как ему тяжело, но лучше отмучиться сразу, не тянуть это все опять. Он пошел на кухню. Открыл кран, наверно, пьет воду. Вернулся, сел за стол, закурил. Сейчас начнет рассказывать, как он меня любит. Спрашивает, что я пишу. Отвечаю - мысли. Я должна быть тверда. Решение принято. Я ужасно постарела с ним за эти два с половиной года. Он говорит - ты обворовала сама себя. Может быть. Мне тоже нелегко в тридцать лет, когда уже для женщины фактически все потеряно, начинать все заново. Он говорит, чтобы я ему больше не звонила. Я и не собираюсь. Кажется, он не до конца верит, что мы вообще расстанемся, хотя я ему ясно и спокойно все объяснила. Очень жаль его. Закуривает еще. Сидит, глядя перед собой. Спрашивает, что ему теперь делать. Отвечаю - жить. Он подходит к магнитофону, ставит кассету, крутит. Я говорю, что уже поздно слушать музыку, у меня болит голова и я хочу спать. Он молчит. Ставит "Богему" Азнавура. Мы беспрерывно крутили эту песню в дни нашего романа. Смотрит на меня. Какая жалкая попытка! Я должна быть тверда. И песня прекрасная, и Азнавур прекрасный, и все прекрасно, но мы должны расстаться. Он человек не моего уровня и запросов. - В письме эта фраза была подчеркнута чужой рукой. Я жду, когда же он заговорит о машине. Интересно, как будет выглядеть его благородство в этой

ситуации? Он звонит матери. Обычный вечерний разговор - как здоровье и т. д. Мне привет. Я счастлива! Он тянет все, тянет, начинает ходить по комнате. Вещи сложены, складывать нечего. Я подгоняю события, резко говорю, что завтра у меня тяжелый день и мне необходимо выспаться. Он крутит на пальце ключи от машины. Начинает новую песню. "Я инвестировал в тебя все свои надежды". Спрашиваю, что такое инвестировал? Финансовый термин - вложил. Я говорю, что если переходить на финансовый язык, то как с машиной? Он - будем ездить по очереди. Дудки! Он еще купит, а я - бедная, одинокая женщина. Все мои козыря в жизни - остаток фигуры, машина, камни, квартира. Вся эта история меня ужасно состарила. Он говорит, что ему надоело, что я все время пишу. Я говорю, что это уже не его дело. Он говорит, что оставит машину мне, даст доверенность. Дудки! Я предлагаю, пока мы не развелись, чтобы он переоформил машину. Он соглашается. Я говорю, что он замечательный мужчина, полный еще сил и за ним пойдет любая. Он молчит. Тел. Звонит его друг Бревно. Он ему сухо объясняет, что мы разошлись, чтобы он сюда больше не звонил. Он выносит вещи на лест. клетку. Я прошу, чтобы не тревожил соседей, не шумел. Кажется, все. Нет, он возвращается. Говорит, что меня любит. Я прошу отдать ключи от моей квартиры. Теперь - уфф! - все! Лифт поехал вниз. Все кончено судьбой неумолимой... Завтра: быть в журнале хим. и жизнь, позвонить Ломако, купить на рынке два кролика, зелень, Нов. Арбат фр. коньяк".

Не знаю, с какой целью прислали мне этот репортаж. Унизить? Оскорбить! Проинформировать? Посочувствовать Я понимал, что все это - правда. По крайней мере, правда того дня. Однако я предпочитал бы не знать этой правды. Даже зная обо всем, я поражался, как я подсознательно упорно придерживаюсь той лживой благообразной концепции, которую себе нарисовал. Как ни странно, но я предпочитал быть обманутым. Много недель после всего этого я ставил телефон на ночь к тахте, на стул. Мне все мерещились какие-то ночные звонки: "Зверь, прости, я тебя люблю... я спросонья бормочу что-то ужасно смешное, которое потом будет нас очень смешить... Василиса фыркает в ночи, звонок в дверь... Ой, как ты здесь зарос! Зверь, ты отчитаешься передо мной за каждый свой день, по минутам! Да как же я могла без тебя!" Мы пьем чай и смотрим друг на друга. Мы пьем чай и смотрим друг на друга. Мы пьем чай и смотрим друга на друга. У обочины дороги стоит мальчик с велосипедом и смотрит на нас. А мы смотрим друг на друга и пьем чай. И молчим, как между аллегро и анданте.

...Телефон мой стоял у изголовья без пользы. Если и звонили по ночам, то не туда попадали. Или друзья зазывали в. какие-то потрясающие компании. Я попробовал ходить, но нагонял на всех смертную тоску. Да и эти все казались мне какими-то мертвыми чучелами. Выпивал, но не пьянел, только накуривался до одури. Никакая Лариса мне не звонила, и я на звонил. И никто в этом мире мне не звонил. Как раненый зверь, бессловесный и дремучий, я только интуитивно понимал, что надо просто отлежаться. Я стал на ночь отключать телефон. Однако это вовсе не означало, что я отказался от надежд.

Барабаш потянул ногу и теперь поднимался. к кафе, где пересекались трассы канатных дорог, только для того, чтобы подозрительно высмотреть, где и с кем катается Галя Куканова. Иногда с палубы кафе он кричал ей: "Галина Николаевна, я тут прекрасно вижу, как вы кокетничаете!" На что Галя с милой провинциальностью отвечала: "Не может быть! Неужели у вас такое хорошее зрение?" Бревно, совершенно переставший кататься и все дни просиживавший с толстенной записной книжкой, куда он, корча невероятные гримасы, вписывал какие-то формулы и схемы, мрачно заметил Барабашу: "Вы знаете лучшее средство от импотенции?" "Не нуждаюсь в подобным рецептах!" - запальчиво воскликнул Барабаш, "Зря, - сказал Бревно, - на всякий случай надо бы знать". И замолчал. Простодушный Барабаш заерзал, любопытство взяло верх, и он все-таки спросил: "Что-нибудь вроде иглоукалыванья?" "Пантокрин из собственных рогов", - сказал Бревно, не поднимая головы от записной книжки. "Очень, очень остроумно!" - сказал Барабаш и, обидевшись, отошел. Елена Владимировна пожалела Барабаша. "Сережа, - сказала она, - вы

хватаете грубыми пальцами тонкие предметы! Полюбить в сорок лет - об этом можно только мечтать". "Наоборот, - ответил Бревно, - я спасаю его. Нет ничего печальнее сбывшейся

мечты". Елена Владимировна, уже спускавшаяся с пыжами на плече к подъемнику, остановилась. "Нет-нет, - сказала она, - это все интеллигентщина, игра слов. Мечта есть мечта". В последние дни, как я заметил, Елена Владимировна сделалась несколько нервна. То она слишком громко смеялась, причем уровень смеха как-то не совпадал с уровнем моего остроумия. Иногда я видел, что она не слушает, вернее, не слышит меня. Просто внимательно глядит в глаза, будто желает там найти соответствие своим тайным рассуждениям обо мне. Кажется, в ней происходила напряженная работа, о содержании которой я мог только догадываться. Надо сказать, что мои догадки производились в верном направлении.

...Мы сели в кресло подъемника. Только потом вспомнится это - кресло с обколупленной васильковой краской, шуршание троса над головой, холодное нейлоновое плечо лимонной куртки, какие-то пустяковые слова вроде "ой, сиденье холодное", мой ответ типа "в Польше на подъемниках пледы дают"... и кто-то навстречу едет в кресле... не мальчик ли с велосипедом?.. Нет, какой-то "чайник", шляпу на глаза надвинул... И будто это кресло - лифт к счастью. Слушай, слушай жизнь, Паша, скользи навстречу лучшим дням в васильковом кресле подъемника, останови это мгновение, запомни, растяни его молчанием, удержи дыхание, не будь дураком, не спеши дальше. Это прекрасно. И это все повторится. Не будет только мальчика с велосипедом...

Наше кресло скользило вверх, Елена Владимировна готовилась к разговору. Я это отчетливо видел. Наконец она начала:

- Ты думаешь, что я ищу принца?

- Нет,- сказал я, - я не думаю об этом.

- О чем же ты думаешь?

- Боже мой, Елена Владимировна! Как будто человек может сказать, о чем он думает! Мысль настолько шире слов, что когда ее выражаешь, то кажется, что врешь. О чем я думаю? Ну хотя бы о том, что очень хорошо, что нет войны. И мы можем ехать в кресле подъемника и рассматривать друг друга. Я думаю о любви. Я думаю о мальчике с велосипедом. Я думаю о себе...

- Тебе жалко себя?

- Наоборот. Мне кажется, что я чертовски удачлив. Но не принц, ты это верно подметила. Знаешь, в сорок втором году в Москве я сказал маме, что принц - этой такой мальчик, которому утром приносят в постель целую сковородку горячих котлет. Смешно, да?

- Паша, - тихо сказала она, - я тебя люблю. Я это говорю тебе во второй раз. Не уже во второй раз, а только во второй раз.- Я буду тебе это говорить всю жизнь. Я искала тебя. Не такого, как ты, и не похожего на тебя, е тебя. Только я не понимаю, что происходит. Ты держишь дистанцию, причем держишь твердо. Я тут раздумывала - может, просто так все складывается? И я делаю неверные выводы?

Она сделала крошечную паузу, чтобы я мог что-то сказать, но я, тупица, промолчал.

- Нет, - тихо продолжала она, - это твоя какая-то осмысленная линия. Паша, я не знаю, как мне преодолеть этот барьер. Может, ты чего-то страшишься? Какого-то несоответствия? Разочарования? Несовпадения?

Я заерзал на сиденье и тут же возненавидел себя за это ерзанье. Я хотел сказать правду, но это ерзанье сделало все, что я скажу, какой-то уловкой. О, Елена Владимировна тут же все поняла.

- Если хочешь соврать, лучше промолчи.

В душе я возмутился. Тем более что она угадала.

- С какой стати мне врать? Я вам, Елена Владимировна, хочу сообщить одну новость.

Я почувствовал, как она, солнышко мое, напряглась.

- Вы, - продолжал я, - выносите с поля боя тяжелораненого. Дайте мне срок, небольшой, чтобы я пришел к вам.

- Это не новость.

- Может быть, но это - главное... А что касается всякого фрейдизма... несовпадений... как-нибудь сойдем.

Елена Владимировна принялась тихо смеяться, и сначала мне показалось, что этот смех - некое выражение сарказма, глубочайшего непонимания или безвыходности. Но это был просто смех, некое выражение радости. Она смеялась, ее трясло, она почти плакала и прижималась ко мне, пыталась меня обнять, и я с завидной ловкостью пытался ей в этом помочь. Наверно, к этому разговору она готовилась с тревогой, но тревогу ее я чем-то рассеял, даже не знаю чем. Готов поверить, что просто какой-нибудь интонацией, промелькнувшей в разговоре.

- Господи, - наконец сказала она, - до чего же хорошо! До чего же это счастье - понимать другого человека!

Она взяла мою руку и стала целовать ее - там между перчаткой и вязаным рукавом пуховки было специальное для этого место.

- Лена, Леночка... - бормотал я в смущении, но руку убрать сил не было.

- Вот так, вот правильно, - говорила она, - называй меня попроще, по-крестьянски, Лена, Леночка, можно Ленусик, не исключено и Леля!

С кресла, которое двигалось за нами и оттуда все прекрасно было видно - там ехал знакомый инструктор по кличке Муркет и какая-то с ним хорошенькая, - нам крикнули:

- Паша, тут не бревны!

- Привет! - ответил я.

- Но только Елкой, пожалуйста, меня не называй.

- Почему? - спросил я хоть и знал ответ. - Тебя так звали раньше?

- Звали, но это неважно. Просто в самом этом слове есть какая-то фальшь.

И еще я хочу, чтобы ты знал: никакой жизни до тебя у меня не было. Это не отписка и не формула - не лезь в мое прошлое. Прошлое было, но жизни не было. Я просто никого не любила.

Она твердо и честно посмотрела мне в глаза. Я обернулся к заднему креслу.

- Муркет! - закричал я. - Можно еще!

- Давай! - крикнул Муркет. - Мы отвернемся!

Я обнял Лену и поцеловал. Мы целовались до тем пор, пока к нам не приблизилась станция канатной дороги и канатчики страшными голосами не заорали, что нужно немедленно откинуть вверх страховочную штангу кресла. Чегетская гора - что деревня. Вечером о наших поцелуях в кресле рассказывали все, кому не лень. А не лень было всем.

В чем я мог ручаться совершенно точно, так это у том, что Лариса меня любила. Все, что происходило между нами, и быть не могло коварным притворством, игрой, фальшью. Правда, ее формула любви меня не очень устраивала, а в первый раз вообще повергла в смятение. Лариса мне сказала: "Я поставила на тебя. Ты должен быть уверен, что я тебе никогда не изменю, а уж если разлюблю, то скажу об этом сразу". Я много раз высмеивал ее за эту формулу, и со временем она лишилась ипподромного оттенка, однако при всем своем цинизме эта формула была правдива.

С мастерством немецкой домохозяйки Лариса педантично налаживала наш быт. Выяснив все, что я люблю, она немедленно полюбила это же. Каждое утро меня будили поцелуем. Завтрак был на столе. Из "морских дней", из всеобщей стирки она устраивала веселые праздники. Она встречала меня каждый раз а аэропортах, откуда бы я ни прилетал - из Варшавы или из Чебоксар. Всегда с цветами. Как-то раз мой самолет из Ташкента опоздал на шестнадцать часов, и эти шестнадцать часов она провела в душераздирающем отменой многим рейсов аэропорту Домодедово. И - никаких упреков. Всегда любовь, только любовь. Она была так расточительна, что я просто не знал, чем ей платить за это счастье. Иногда - и это было всегда неожиданно и оттого не банально - она срывала меня на два-три дня, и мы мчались то на юг, то за грибами в Ярославль, то с байдаркой на Валдай.

Я думал, почему эта красивая, умная и совершенно неповторимая женщина любит меня? За что? Я не находил никаких особых супердостоинств в своей скромной персоне. Каждый раз я решал, что она меня любит по причине отсутствия причины любви. Любит оттого, что любит. Этому подтверждением были и та обстоятельность, с которой она принялась за создание семьи, и абсолютно невычисляемая импровизационность чувств и поступков. Она тайно прилетала в города, в которых я бывал в командировках, и разыгрывала меня по местному телефону. Она слала телеграммы в стихах. Она писала по два раза в день заказные письма. В том месте, где на конверте надлежало стоять обратному адресу, неизменно было написано ее рукой: "Все те же, все там же". Придерживая грудь, она бежала ко мне по бетонным мокрым плитам аэровокзала и сразу же между поцелуями выпаливала мне все новости, валя в общую кучу домашние и рабочие дела, почту, болезни, премьеры, соседей, машину, продукты, жировки за свет, звонки моих немногочисленных друзей, сплетни, родственников. Я понимал, что эта фиеста счастья не может продолжаться вечно, что рано или поздно наш корабль начнет зарываться носом в быт, в деньги, в суету, в каждодневную мелочь, но уже будет набран мощный ход. Нет, я не ставил на Ларису. Я просто любил ее. Я был предан до конца ей, нашей любви. Но песня наша оборвалась на полуслове, будто певец увидел, что из зала ушел последний слушатель...

Как только возникли Кавказские горы, тут же на свет появился Иосиф. По крайней мере так могло показаться. Был Иосиф хоть и роста невысокого, но крепкий, будто из железной, тонущей в воде березы сделанный. Пальцы, как сучья. Щеки и орлиный, я бы сказал - сверхорлиный, нос будто из-под грубой стамески мастера вышли. Никто не знал, сколько ему лет, а когда спрашивали, он отвечал: "Много, много". Отвечал с загадочной усмешкой, будто это была тайна, но не его. На самом деле это было некое кокетство. Просто Иосиф, житель гор, был уже в таком возрасте, когда возраст не имеет никакого значения. Иногда в его рассказах мелькали такие имена, что хотелось слушать стоя: Корзун, Алеша Джапаридзе, Женя Абалаков. Хотелось переспросить, но никто не переспрашивал, потому что Иосиф никогда не врал, даже не то чтобы не врал, а просто не говорил неправду.

Рассказы же о нем ходили самые необыкновенные. Будто спас он от верной смерти на отвесной стене самого Стаха Ганецкого, подставив себя под его падающее, оцетинившееся всяким острозаточенным железом тело. Будто встречал Иосиф саму эльбрусскую Деву - широко известное привидение в белом платье, с распущенными черными волосами и с ледовыми крючьями вместо пальцев. Но не закрыл перед нею в эльбрусской пурге глаза, не грохнулся в снег на колени, а гордо сверлил ее орлиным взглядом. Когда же Дева положила

свои железные, источающие ледяной могильный холод пальцы на его плечо и тихо сказала: "Оставайся здесь", будто Иосиф твердо покачал головой - нет, мол, не останусь. И Дева исчезла, а Иосиф, потрясенный происшедшим, пошел куда глаза глядят, а глаза его глядели в тумане с вершины Эльбруса в сторону нескончаемых малкинских ледников, и Иосиф едва не перешел на ту сторону горы, чего он делать совершенно не намеревался. По другой версии, имел Иосиф строгий разговор с Девой, коря ее - и совершенно справедливо! - за то, что она погубила у себя на горе столько молодых альпинистов, Конечно, эти рассказы были чистым вымыслом. Слишком уже невероятно поверить в то, что эльбрусская Дева отпустила такого в свое время красавца, как Иосиф...

Ах, давно это все было, давно, Сидит Иосиф на крыльчке, щурится. Вокруг в голубой тени терскольских сосен лежат пухлые перины сугробов, но на прогалинах камушки уже веснушками в снегу выступают, а крыльцо Иосифа стоит на самом солнышке - доски уже сухие и на вид теплые. Сам Иосиф сидит в совершенно невиданной теперь обуви под названием бурки, в новом солдатском полушубке, в генеральской каракулевой папахе. Над головой Иосифа, над верхушками сосен сверкает ледовая шапка вершины Донгуз-Орун. Мы - Елена Владимировна, я и Джумбер - стоим перед Иосифом, но он не смотрит на нас с Джумбером, смотрит только на Елену Владимировну. Щурится.

- Очень хорошая блондинка, - говорит он тихо. Мы киваем головой. Иосиф никогда не врет. Я не уверен, помнит ли он меня, - я давно не был в горах, все любимое со своей любимой порастерял...

- Паша, это твоя жена? - спрашивает Иосиф, не глядя, впрочем, на меня, а глядя на Елену Владимировну.

- Нет, Иосиф, к сожалению, нет, - ответил я, а Джумбер переступил с ноги на ногу и печально вздохнул. Иосиф тоже печально покачал головой: очень, конечно, жаль, но не каждому, далеко не каждому может достаться такая красавица - жена. Мы стоим и смотрим на Иосифа. Я обещал Елене Владимировне его показать. Быть в горах и не увидеть Иосифа - все равно что на повидать Эльбрус.

- Почему грязный? - спросил Иосиф, лениво на секундочку скользнув глазом по Джумберу и снова уставившись на Елену Владимировну. Джумбер действительно был хорош: через светлую пуховку, уж бог знает какой фирмы, шел масляный след толщиной в руку; лицо, руки, рукава, стеганные голубые брюки - все измазано, все в пятнах застарелого грязного тавота. - На трос лазил, - ответил Джумбер.

Иосиф опять кивнул. Понятно. Чего не понять? На трос лазил. А зря Иосиф не расспросил - история была оригинальная.

Сегодня где-то наверху в районе Чегета-3 очередные киношники снимали что-то про горные лыжи - как всегда, очень быстрое, скоростное, художественно невыразительное. Подъемная дорога была уже закрыта, но художникам кинокамеры необходимо было. "Да мне свет второй половины дня нужен! - толковывал режиссер. Чтобы лица были абсолютно плоскими! Понимаешь?" Их желание насчет плоских лиц осуществилось, и дорогу вечером включили только для того, чтобы забрать киногруппу сверху. И уже кресла с киношниками достигли погруженной в вечернюю тень долины, над которой в голубоватом стальном небе нестерпимо сверкали абсолютно желтые снеговые вершины, уже длинноногий актер прыгнул с кресла на бетонную палубу нижней станции канатной дороги, опытно определяя большим высокочувствительным носом, откуда исходит невероятно волнуемый острый запах шашлыка, который он учуял еще у шестой опоры, как на тебе вырубился во всем Терсколе свет, встала дорога, повисли в креслах над пропастями киношники. Ну, пропасти не так уж и большие, метров десять до склона, но одна девочка, как выяснилось гримерша, зависла над самым кулуаром, "трубой", и до земли здесь было высоко. Пока киношники обменивались глуповатыми шутками на манер школьников, застрявших в лифте, к дороге из самых разнообразных точек выкатной горы стали стягиваться спасатели и любопытные. Мы тоже пошли туда - Елена Владимировна попросила.

На чегетской трассе давно уже выработалась практикой система снятия людей с кресел: сидящему в кресле закидывается снизу конец веревки, он обвязывается ею и под ободряющие крики спасателей сползает с кресла, удерживаемый веревкой, которая скользит через металлический поручень кресла. Тут важны два обстоятельства: суметь расцепить руки, последней мертвой хваткой держащиеся за кресло, и вместе с тем, как говорят китайцы, сохранить лицо. Самые забавные сцены происходят с экскурсионными дамами, прибывшими полюбоваться горными видами в традиционных юбках и платьях: они визжат, нередко исключительно квалифицированно матерятся, а также требуют удаления из зоны просмотра несуществующих прелестей всех спасателей, что невозможно из-за самой технологии спасения. Однако киношников довольно быстро сняли. Больше всех хлопот доставил режиссер, волосатый, бородатый молодой человек в темных круглых очках слепца, поборник предельно плоских лиц. Он обвязался, но сил сползти с кресла в себе не находил. Его уговаривали, стыдили, спасатели картинно бросали веревку и якобы уходили. В конце концов, издав страшный боевой клич, режиссер сумел расцепить руки и тут же был доставлен на землю. Осталась одна гримерша, как выяснилось - Верочка. Она довольно толково обвязала брошенным ей репшнуром свой гримерный чемоданчик, и его мигом спустили вниз. В это время Джумбер, по его показаниям, допивал не первую бутылку вина на посту управления подъемником и все прекрасно видел. Когда же Верочка обвязала себя - за этим внимательно следил и инструктировал ее бригадир спасателей, маленький синеглазый Костя, - она села на край кресла, наивно веря, что с кем, с кем, а с ней-то уж ничего не случится, и вместо того, чтобы медленно сползти, как с вышки, прыгнула вниз. Такого вольта, естественно, никто не ожидал. Веревку заклинило между дощатым сиденьем и металлическим подлокотником. Верочка, нелепо перебрав ногами, повисла в метре ниже кресла. Кажется, она вскрикнула, одновременно с ней закричали спасатели (все примерно одно и то же). Слабо улыбаясь и еще, наверно, до конца не осознав, что с ней произошло, Верочка совершила две-три вялые попытки подтянуться вверх по веревке и, конечно, не смогла. Положась на несомненные рыцарские качества стоявших внизу мужчин, она попытка эти прекратила. Бедной девочке было не сладко: коротенькая дешевая ее куртка задралась, какие-то рубашечки-маечки под ней все задрались, собравшись валом у грудь и обнажив спину и живот. Слабо улыбаясь, она поглядывала вниз. Под ней мелкие, как муравьи, бегали спасатели, размахивали на манер итальянцев руками. Теперь до всех дошло, что расстояние от кресла до обоих опорных мачт весьма изрядное. Здесь я подумал, что девочка в таком состоянии может провисеть от силы минут двадцать. Она ведь висела в самой настоящей петле, и эта петля, как и всякая другая, затягивалась у нее под руками. В альплагерях здоровые ребята и специально приспособленных для подобного висения обвязках терпели не дольше. А тут - просто веревка и просто девочка Верочка. Художник-гример. Я извинился перед Еленой Владимировной и побежал наверх к спасателям. Верочка, видимо превозмогая начинающуюся и увеличивающуюся боль и все еще неловко улыбаясь, занялась своими мятыми и старыми, с кожаными заплатками в трущихся частях джинсами, которые уже начали сползать с ее худых бедер. Безусловно, этими усилиями она еще больше усугубляла свое положение. Кроме того, веревка, на которой она висела, была старая - это было видно издали. Конечно, от Верочки трудно было ожидать рывкового усилия в две с половиной тонны, на котором кончалась гарантия новой веревки, но от этой грязной и разлохмаченной во многих местах наподобие помазка да еще и заклиненной веревки. можно было ожидать чего угодно. Больше всего поразило меня в этот момент: все киношники во главе с волосатым режиссером, любителем абсолютно плоских лиц, уверенно покидал поле боя. Некоторые из любопытства оглядывались, но шли вниз, не теряя темпа. Один только остался, пожилой, в старом и старомодном тяжелом пальто, с папиросой "Беломор" в зубах. Как позже выяснилось - замдиректора.

Когда я подбежал к спасателям, Костя уже лихорадочно обвязывал себя страховочным концом, веревкой тоже не первой свежести. Я еще раз удивился, потому что таким способом без применения специальной и удобной системы мягких ремней обвязывали себя когда-то при Иване Калите, когда в ходу были сизалевые веревки.

Костя, которого я не видел лет пять, узнав меня, быстро спросил: "Пострахаешь?" Я кивнул. В свое время с Костей, молодым голубоглазым пастушонком из Терскола, мы ходили на две или три горы. Мы побежали к верхней мачте опоры. Сверку по тросу спускаться, конечно, легче. Но было очень далеко. На бегу я крикнул Косте: "А что, веревку получше не нашли?" Он обернулся и глянул на меня с такой злобой, что голубые его глаза показались мне белыми, Продали, подлецы! Ладно, бежим в гору по ноздреватому, полуледяному снегу. Костя, черт, бежит, как молодой. Ему хорошо, он в ботинках "вибрам". Я-то вообще, можно сказать, на свиданье вышел - в пасхальных брюках и мокасинах. Хорошо, что пуховку прихватил! Добежали до мачты опоры, полезли. Скобы холодные, грязные. Отсюда, с верхушки опорной мачты, от измазанных тавотом катков с блестящими желобками по центру, прекрасно видно, как далеко от нас кресло с Верочкой. Она висит уже неподвижно, бессильно опустив руки, плечи ее чуть приподняты этой проклятой веревкой. Н ней, провисая над пропастью идет изогнутая нитка троса. Так... Как же мне его страховать? Если ой сорвется, амплитуда будет огромной - сразу же о мачту разобьется. Смотрю, у него на поясе висят два карабина, один из них большой, пожарный.

- Дай мне пожарный карабин!
- Зачем?
- Давай, давай, говорю!

Сам вяжу узел проводника на основной веревке, метрах в трех позади Кости. Тут он и сам понял, что для его же пользы. Рвет с пояса карабин, руки дрожат... Я продел карабин в узел, захватил им же трос.

Все! Теперь он у меня никуда не денется!

- Пошел, Костя!

Он уже вроде приготовился схватиться за трос, да застыл, прямо как монумент. Я, стоя немного ниже, посмотрел туда, куда он глядел как безумный. С другой стороны, от нижней станции подъемника, по тросу лез человек. Без страховки, без всего, даже необязанный. Лезть снизу ему было, конечно, труднее - трос шел с некоторым подъемом. Впрочем, лез он весьма грамотно. - Это Джумбер, - зло сказал Костя. - Старик уже, тридцать восемь лет будет скоро... Все выпендривается....

Было видно, что у Джумбера очень сильные руки, которые работали, как подъемные механизмы. Верочка висела к нему лицом, но даже отсюда было видно, что висит она вроде как бездыханная. Наконец Джумбер достиг кресла и встал на него. Ах, несомненно, он любил картинные позы - стоял, прислонясь лбом к штанге кресла. Мимолетен был жест, но на людях - сотня, наверно, внизу собралась, даже какую-то палатку, чудачки, разворачивали ловить. Но действовал Джумбер молодец-молодцом: не стал выдирать заклиненную веревку, а легко, как ведро с водой, поднял Верочку обратно в кресло. Тут и нам с Костей, все еще торчавшим на вершина мачты у роликов, на миг показалось лицо ее, и я понял, что там уже обморок. Джумбер, сидя по-геройски на подлокотнике кресла, усадил Верочку удобно, что-то говорил ей, поправлял ее курточку. Она, кажется, ничего не говорила, только слабо поднимала пальчики, - дескать, спасибо. Головку Верочка держала тоже как-то неуверенно, как младенец. Джумбер быстро развязал петлю на ней, и она смогла пошевелить плечами, а спаситель ей в этом помогал не без удовольствия. Наконец он обвязал ее по-человечески, поцеловал в щечку, что вызвало внизу различные шутки, и, лично страхуя через штангу (здесь уж не до шуток хорошо уселся и уперся), быстрехонько спустил Верунчика прямо в руки болельщиков. Тут и мы с Костей спустились, и я увидел, что Верочку уже несут вниз и доктор Магомет, известный всему ущелью, на коду что-то говорит ей...

Мы с Джумбером помылись у меня в номере, причем мрачноватый инструктор Ермаков, не произнеся практически ни слова, вытащил из ладоней Джумбера несколько стальных заноз и, совершив доброе дело, так же мрачно удалился. Я дал Джумберу одеколон "Арамис" промыть ранки; он долго нюхал его, качал головой.

- Хорошо в Москве жить, - сказал он. - А у тебя что-нибудь есть, туда-сюда!

У меня, туда-сюда, ничего не было, надо было идти в бар, и Джумбер, вздохнув, уселся на край кресла - ждал, пока я переоденусь.

- Ты зачем полез? - спросил я. - Мы же с Костей уже на опоре были. Ты нас не видел?

- Видел. Я лицо ее видел. Совсем девушка плохая стала бледная, белая как снег. Совсем могла умереть.

- Зря ты полез, - сказал я. - Без страховки. Да и выпивши.

- Э-э! - махнул рукой Джумбер. - Я же не за рулем!

Он принялся внимательно рассматривать свои голубые стеганные брюки в пятнах и полосах тавота, и я подумал, что он сейчас скажет: совсем пропали брюки, туда-сюда. Но вместо этого он, не поднимая глаз, сказал: - От меня, Паша, жена ушла.

- От меня тоже, - механически ответил я, но он, кажется, вообще не услышал моего ответа. Сидел, смотрел на брюки.

- Кто такая? - спросил я. - Русская?

- Да, - ответил Джумбер. - Русская. Украинка. Из Полтавы. Я хотел со скалы броситься.

Потом хотел в Полтаву полететь, но братья не пустили. Паспорт отобрали и караул у дверей поставили.

- Ну правильно, - заметил я. - Приехал бы ты в Полтаву. Ну и что? Чего бы добился?

- Я убить ее хотел.

- Да что за глупость, Джумбер! - рассердился я. - Что за ерунда! Убить! Дикость! Сам, небось, пьянствовал и гулял. Ну, гулял же?

Джумбер вскочил, и на его лице отразились отвага и честность.

- Паша! - воскликнул он. - Клянусь памятью отца! Никогда не гулял. Три-четыре раза - и все. И то - вынужденно.

- Как это вынужденно?

- Две ленинградки и одна из Киева, - защищался Джумбер. - Сами приставали. Паша, не мог удержаться! Проклинал себя. Приходил домой - вся душа черная. Дом построил. Коровы есть, машина есть, барашки есть. Зачем ушла? Ничего не взяла, три рубля не взяла. Золотой человек. Я ей написал письмо из четырех слов. "Иришка!" - первое слово. "Любил" - второе слово - "и буду любить". Все! Она написала ответ, полтетрадки, все в слезах.

Джумбер закурил, естественно - "Мальборо".

- Написала, - продолжал он, - что любит, но не может жить с таким зверем и бабником.

Мы помолчали.

- Сейчас-то у тебя кто-нибудь есть - спросил я.

- Конечно, есть, - печально ответил Джумбер. В бар мы не пошли, потому что Джумбер вдруг сказал, что в таком виде он в бар не пойдет, но мне не хотелось с ним расставаться, даже мелькнула мысль, что, если мы сейчас расстанемся, я его брошу. Я пошел его проводить. На скамеечке перед входом в гостиницу сидела замерзшая Елена Владимировна. Я познакомил ее с Джумбером, он тут же приободрился и сказал что-то привычно-пошлое. Мы прошли через лесок, через речку, через поселочек географического института, поразговаривали, как было отмечено выше, с Иосифом и дошли до джумберовского дома. Елена Владимировна в мужской разговор не встревала, шла скромно ну просто козочка. Ее

скромность, кажется, еще больше, чем красота, потрясла Джумбера. Он косил олений глаз в сторону столичного телевидения и вроде бы совершенно не жалел, что в свое время не бросился со скалы.

Дом у Джумбера был действительно новый, и асфальт за воротами имелся, и живность виднелась. Джумбер зазывал нас на какие-то потрясающие заграничные и местные напитки, но мы твердо отказались. Он расстроился, стоял у новых железных, только что крашенных зеленой армейской краской ворот с какими-то нелепыми кренделями, сваренными местным сварщиком из арматурного ребристого прута, - грустный, печальный, постаревший. Я почувствовал и нему почти братскую любовь - уж кто-кто, а я-то знал, как ужасно, как невыносимо холодно сейчас переступить порог пустого дома. Я неожиданно для себя обнял Джумбера, и он вдруг откликнулся горячим кавказским объятием.

- Что мне делать, Паша?- спросил он.

- Насчет Полтавы? Подожди немного, не нажимай... Может, образуется... Люди не любят, когда на них нажимают...

Дал совет. Кто бы мне дал совет? Может быть, моя прекрасная леди? В сумерках ее лицо было просто прекрасно, без всяких метафор. Казалось, она бесконечно терпеливо ждет, когда с моих глаз спадет чернота и я увижу наконец сияющий голубым светом выход из своего мрачного грота... Мы вышли на дорогу. Горы уже сделались стального цвета, и только на самой верхней полоске ледовой шапки Донгуз-Оруне тлел последний закатный луч, будто там протянули блеклую оранжевую ленточку... Вот Лариска сейчас бы сразу: "О чем говорили? Что за Полтава! Это что, кодовое слово? Полтава звучит, как шалава..." И так далее. А Елена Владимировна - ни звука. Довольна, что мы вместе присутствуем под: мирозданием, Ждет. Терпеливо ждет. Ей-богу, какая-то святая! Да что же это за чудо таков? Ведь бесконечно не может это продолжаться, бросит она такого балбеса, как пить дать бросит! Останешься ты, Паша, с двумя осколками в руках!.. Я обнял за плечи Елену Владимировну.

- Не холодно?

- Теперь - нет, - ответила она.

Бревно собрался уезжать, а я собрался его провожать. Окончился его одиннадцатидневный отпуск, по сусекам наскребенный из свехурочных, каких-то воскресений и мероприятий. Там, в Москве, куда он попадет сегодня вечером, никто и не знает, что его по-настоящему-то зовут Бревно. Завтра он вообще превратится в профессора, доктора химических наук Сергея Маландина, нетерпеливого деспота и холодного педанта. Подписывая зачетки студентам, он будет мрачно им говорить, неразборчиво, сквозь зубы: "У нас растет число образованных людей и стремительно уменьшается число культурных". (Иногда на экзаменах он просил спеть студентов что-нибудь из великого химика Бородина, ну что-нибудь самое популярное, половецкие пляски, к примеру. "Образование, - мрачно при этом говорил - это часть культуры. Только часть".)

Мы шли по баксанской дороге, к автобусу, я нес его лыжи, а он - рюкзак. Шли в невеселом расположении: он, как я полагаю, за своих химическо-домашних дел, а я - от внезапно пришедшего ощущения скорого одиночества.

- Ты можешь спросить у меня, сколько мне лет? - спросил Сергей, и это было настолько глупо, что я промолчал, подумал, что он разговаривает сам с собой, Чего мне спрашивать, если мы с ним были одноклассники и учились когда-то в одном классе? Но он разговаривал, оказывается, не с собой, а со мной.

- Слышь, Паш? - снова спросил он.

- Ты что, рехнулся?
- Нет, ну ты спроси.
- Покупка, что ли? - Ну спроси, говорю тебе!
- Скажите, пожалуйста, Бревно, сколько вам лет? - спросил я.
- Сто, - сказал он.
- Ну и что?
- А то, - сказал Бревно, - что мы с тобой болваны!
- Ну об этом никто не спорит.
- Мы - болваны! - повторил он. - Что-то мы не усекли в этой жизни. Я, знаешь, стал завидовать ребятам, у которых есть семья. И не вторая, а первая. Ну, было у них там что-то, было. Она хвостом крутила, он рыпался, но в общем-то перевалили они через эти рыдания, и вот они уже друг для друга родные люди. Я ведь, Паш, мог бы с Маринкой жить-то. Мог.
- Ну, вспомнил! - сказал я. - Сколько ты ее не видел?
- Шесть лет. А снится мне каждую ночь.
- А Маша? А Юлечка? - спросил я. - Ты ж... у тебя ж...
- Ну да, да, все это так. Полгода назад, помнишь? Я позвонил?
- Это не веха.
- Ну звонил, я тебе говорю! Лариска еще подошла, стала орать.
- Ну, звонил.
- Я в этот день Маринку в метро встретил. Не встретил, а просто стоял, читал газету, поднял глаза - она передо мной стоит. Фейс ту фейс. Я даже не смог ничего сказать. Она стоит и плачет, не всхлипывает, ничего, просто слезы льются. И вышла сразу. На "Комсомольская-кольцевая". Ушла и не обернулась.
- Да, - сказал я, - драма на канале.
- Не смейся! - зло сказал он.
- Я просто так, чтобы скрыть волнение.

Бревно некоторое время шел молча, потом тихо и даже как-то жалко сказал:

- Ну я, конечно, пытаюсь от нее загородиться. Работой, поездками, наукой... Но надолго этого не хватит. Я на пределе.
- Ты что-нибудь собираешься делать?
- Не знаю. Там какая-никакая, но семья у нее с этим артистом, сам я тоже... не соответствую званию вольного стрелка. Но жить так не могу. Не знаю. Я даже без химии мог бы прожить, но без Мариши - не получается.

В устах моего друга такое заявление было просто святотатством..

- Ладно, - сказал я, - чего ты разнюнился? Мог бы, не мог бы...
- Правильно! - сказал он. - Разнюнился! Тонно.

Он зашагал бодрее, даже попытался разогнуть свою огромную спину под рюкзаком, отчего приобрел гордый и смешной вид.

- Все-таки хорошо, что мы с тобой хоть в горах встречаемся. Правда?
- Да, - сказал я, - исключительно полезно для здоровья.
- Не в этом дело! Просто потрепаться можно от души. В Москве не дадут.

Как у тебя подвигается роман?

- Ничего, - сухо ответил я.
- Не хочешь говорить?
- Нет.
- Я хочу тебя предостеречь. Таких, как она, не обманывают...

- Обманывают всех, - сказал я.
- Ну я в том смысле хотел выразиться, что ты ее не должен обмануть.
- Ты не мог бы выразиться яснее? - спросил я.
- Мог бы. Если в тебе слит весь бензин, - быстро ответил Сергей, - не обещай попутчику дальнюю дорогу.

Слит бензин? Весьма цинично.

- И вообще, - продолжал он, - хватит здесь отдыхать. "Из-за несчастной любви я стал инструктором турбазы" Посмотрите на него! Из-за несчастной любви, дорогой мой, в прошлом веке топились. Он - стал инструктором турбазы. Какая глубина трагедии! Как сильны драмы двадцатого века! Инструктором турбазы! Сколько тебе лет? Сто? Не гордясь этим, как бы мимоходом, но значительно. Сто. Через две недели я попрошу тебя явиться в столицу и продолжить свои профессиональные занятия! Тебе - сто лет! Я не могу тебе сказать - не будь дураком, этот совет уже опоздал. Но я могу тебе сказать не будь смешным. В конце концов, все свои многочисленные ошибки в личной жизни я совершил только ради тебя - чтобы ты, глядя на меня, мог выбрать верный курс!

Он засмеялся и хлопнул меня по плечу так, что я чуть не упал. Автобус уже стоял, и усатый пожилой водитель орлино поглядывал на поселок Терскол в надежде взять хоть двух-трех безбилетных пассажиров. Заурчал мотор "Икаруса", мы обнялись с Сергеем. Да, в конце двадцатого века у открытых дверей транспортных средств надо на всякий случай обниматься. Такой уж век. Сергей высунулся в форточку.

- Какая первая помощь при осколочном ранении головы? Ну, быстро отвечай!
- Быстро? - крикнул я. - Не знаю!
- У нас в кафе живет студентке-медичка. Она считает, что в этом случае нужно на-ло-жить жгут не ше-ю!

Автобус отъезжал, и по его красному лакированному боку скользили черные тени сосен. Я видал удаляющееся лицо моего друга Сережи. Он улыбался и всячески старался показать мне, что у него замечательное настроение и даже шутку приготовил для прощания, но я-то прекрасно знал, что на душе у него черно, как и все последние жесть лет, проведенные им без любви.

Почтовое отделение в поселке Терскол было одновременно похоже на бетонный бункер, ковбойский салун и доску объявлений. К дверям этого бетонного куба, над которым победно полоскались в небе десятиметровая штыревая антенна и хлипкие кресты радиорелейной связи, вели ступени, облицованные таким старым льдом, что за одно восхождение по ним надо было награждать значком "Альпинист СССР". Сама дверь и окружающее ее на длину вытянутой руки пространство стены, а также косяки - все это было оклеено различными объявлениями типа: "Продаются лыжи "Польспорт"-205, турбаза ЦСКА, ком. 408, спросить Мишу", "Рокотян! Мы устроились у Юма на чердаке, Не пройди мимо", "Куплю свежие "Кабера" 42 размер, "Азау", туркабинет, Соловьев", "24 тэлэграф не работает, помеха связи" (Внизу карандашом приписано: "День рождения у Хасана", "Валентина! Ты ведешь себя некрасиво. Где деньги?"), "Продаю горнолыжный костюм, черный, финский, недорого. Д. 3 кв. 8, Наташа", "Мисийцы! Где вы, сволочи? Я здесь ошиваюсь целый день! Живу в "Динамо" на диване. Нухимзон".

В крошечном помещении почты множество народу подпирало стены и сидело на подоконнике. В окошке сияла восточной красотой телефонистка Тамара и била по рукам ухажера, который пытался потрогать то хитрые рычажки тумблеров, то саму Тамару. Тайна телефонных переговоров здесь никак не соблюдалась: в переговорной будке были выбиты стекла, и грузный мужнина, направляя звук ладонью в трубку, докладывал далекому

абоненту, а также всем присутствующим на почте: "...какая здесь водка? Тут один нарзан... да говорю тебе даже не прикасался" Мужчина при этом весело поглядывал на окружающих и подмигивал девушкам. У меня была ясная цель: дозвониться в редакцию и напомнить Королю о моем Граковиче.

Увидев меня, Тамара отбросила на значительное расстояние ухажера и, высунувшись в окошко, горячо зашептала: "Паша, девушка твоя приходила, с которой ты целовался на подъемнике, симпатичная, красивая, в желтой куртке, звонила в Москву, сказала мужу, что не любит его, любит тебя!" Выпалив все это, она с тревогой уставилась на меня.

- Нормально, - сказал я. - Мне Москва нужна, Тамар.
- Не зарежет?
- Нет, - сказал я, - не зарежет. У него ножа нет.
- А, что ты говоришь! Мужчина - нет ножа! Даже слушать смешно!
- Ты Москву мне дашь?
- Серьезное дело! Говорить не хочешь? Понимаю. Что в Москве? Телефон мужа?

Нет, муж Елены Владимировны мне был ни к нему. Я дал два телефона своей редакции и, совершенно не удовлетворив любопытства Тамары, отошел от окошка. И только тут я увидел, что у стены с ленивым видом стоит и вертит на пальце какие-то ключи не кто иной как Слава Пугачев. Он подошел ко мне и тихо сказал:

- Странно видеть вас, шеф, в таком доступном для всех учреждении. Вы, конечно, звоните в Париж? В Лондон? Агенту "Феникс" Пароль - "сабля"?
- Да, - сказал я, - отзыв - "ружье". А вы Слава? В Москву.
- Всего лишь.
- На какую букву? На букву Д? Деньги?
- На этот раз - увы. На этот раз на самую ненадежную букву. На букву "Л". Я скучаю по ней, него раньше не наблюдалось. Кадр из кинофильма "Любовь под вязами". Кроме того, проверка уж проведена.
- Проверка? Какая проверка? - спросил я.
- Я вам рассказывал. У меня есть приятель Боря, академик по бабам...
- Ах да, - вспомнил я, - Боря из "Мосводопровода". Ну и что он сигнализирует?
- Он идиот, - сказал Слава. - Прислал телеграмму: "Все в порядке". Теперь я должен гадать, было у них что-нибудь или нет.
- Надо четче инструктировать своих муркетов, - сказал я.
- Да, - печально сказал Слава. Казалось, он и впрямь был огорчен ошибкой своего наемного проверщика.
- Никому нельзя ничего поручить - все напортят, - добавил он. Мы засмеялись. Я видел, что Слава действительно переживал и нервничал. Тут как раз Тамара крикнула "Москва", он дернулся, ринулся вперед, но оказалось, что это "Москва" принадлежит одной из загоральщиц, за ней побежали с криками: "Зайцева! Зайцева!" Зайцева прибежала и стала с ходу таинственно шептать в трубку: "это я... я... представь себе... ты один! Нет, я спрашиваю - ты один?"
- С бабой он, - сказала, ни к кому не обращаясь, очень большая, и очень толстая, и очень молодая девушка. На ней были ямщицкая дубленка и черные замшевые сапоги, которые, казалось, стонали от каждого ее шага.
- Ну вот разве к такой, - тихо сказал Слава, показав глазами на огромную дубленку, - можно подойти без проверки?
- А ваша - такая? - спросил я. - Тогда и проверять не стоит.
- Да нет, в том-то и дело, что нет. Я вообще все это зря затеял. Так, по инерции. А баба у меня - хай-класс!
- "...да, уехала из-за тебя, - продолжала свою линию Зайцева, ...потому что... нет, не поэтому, а потому что моя нервная система на пределе!.. Нет, неправда! - Зайцева начинала распляться

и кричать. - Когда случился тот случай... да-да, тот случай, а твоя каракатица вздумала ехать в дом отдыха... нет, мы не будем касаться этого ТОГО случая!"

- Аборты надо меньше делать, - снова прокомментировала Зайцеву толстая девушка. Мы с Пугачевым вздохнули и вышли покурить. За бетонными стенами все так же развивался солнечный день, по снегу прохаживались козы, над армейской турбазой звучал марш. Блистали снега на вершинах, в сторону Азау, гадко загрязняя окружающую среду фиолетовым дымом, взбирался продуктовый грузовик. Со стороны кафе "Минги-Тау" спускались два подвыпивших туриста. На солнечном ветру, издавая жестяные звуки, трепыхались овечьи шкуры. Все было в порядке. Мы со Славой курили.

- У нее с прошлым ее мужем было что-то серьезное, - сказал Слава. - Что-то типа любви. В таких ситуациях плохо быть вторым. Лучше всего - третьим.

- Это кто же вычислил! - спросил я.

- Я, - ответил Слава. - Да и это очевидно! На второго падает вся ответственность, что он не похож на первого. Или наоборот что похож. Его сравнивают. Он всегда недостаточно хорош. Он не так шлепает домашними тапочками, как предыдущий. Жует с каким-то хрустом (тот жевал, может быть, и более отвратительно, но по-родному). Оба не мыли после себя ванную, но то, что не моет второй, - это раздражает, потому что этим он напоминает первого. И так далее. Далее до развода. Полгода-год мадам живет в одиночестве, и теперь ей оба кажутся негодяями - первый, который бросил ее, и второй, которого бросила она. И здесь, когда тоска достигает апогея, появляется третий. Скромный такой товарищ с едва наметившейся лысинкой. физик-практик-теоретик, член добровольной народной дружины. Вот он-то и снимет весь урожай с поля, на котором до него добросовестно работали два ударных труженика.

- Вы большой философ, Слава, - сказал я.

- Это все азы. Вот с этой красавицей, которая у меня сейчас, вот здесь настоящая шахматная партия. Она мне очень нравится. И я ей. Кажется. Но что-то меня останавливает. Да, там чувство было сильное. Это ясно. Но не это только, не это... Пожалуй.. пожалуй то, что она похожа на меня. Вот! Вот - точно! Когда говоришь вслух, - мысли четче. Да, она похожа на меня. А я бы на себе никогда не женился бы.

Тут дверь почты открылась, вышла вся обрванная Зайцева с черными от размокшей краски ручейками на щеках, а конвоировала ее толстая девушка в ямщицкой дубленке. Толстая шла и громко говорила: "Дура ты, Алка, дура, дуреха!"

- Москва, Москва! - закричали из открытой двери. Мы со Славой кинули сигареты и ринулись на почту. "Москва, - говорила Тамара в микрофон, - 299-60-67"

. Я не могу сказать, что я застыл на месте. Нет, я продолжал еще шаг, но так, как продолжает двигаться человек, в которого уже попала пуля, ударила в шинель, разорвала сердце. Потом через секунду, безмерно удивленный краткостью жизни, он вскинет руки, вскрикнет. 299-60-67 - это был мой телефон. То есть не мой, а бывший мой. Это был телефон Ларисы.

Мне казалось, что я двигаюсь ужасно быстро, а все, бывшие на почте, почти застыли в каких-то странных позах, продолжая свои в сто крат замедлившиеся разговоры, жесты, шаги. На самом деле я, очевидно, довольно вяло стоял, поворачиваясь к переговорной будке, где на черной пирамидке аппарата без диска лежала черная трубка. Впереди меня был Слава. Я видел, как он медленно шел к будке (на самом деле - бежал), вошел, сел на табуретку, закрыл за собой совершенно ненужную ввиду отсутствия стекол дверь, снял трубку и сказал: "Привет, кисуля! Это я".

...в Ялте ноябрь.

Ветер гонит по на-бе-реж-ной

Желтые, жухлые листья платанов.

Волны, ревя, разбиваются а парапет,

Словно хотят добежать до ларька,
Где торгуют горячим бульоном...

- А здесь и вправду есть такой ларек?

- Есть.

- Где?

- Вот там, в конце набережной,

- Боже мой, все есть! Есть Ялта, есть ноябрь, есть платаны, есть ларек. Есть ты, в конце концов! В конце концов, есть я!

Волны грохались о бетон набережной, и белыми высочайшими стенами вода взмывала вверх, обдавая всю набережную водяной пылью. Отдыхающие в черных плащах болонья восторгались, и самые смелые, расставив руки, позволяли морской стихии, разбитой на капли, падать на шляпы и плечи, на их нуждающиеся в отдыхе лица. С фонарей, наводившихся в зоне водяного обстрела, были заблаговременно сняты белые стеклянные плафоны. Синели горы. Лариса сдернула с головы платок, мотнула головой (это движение всегда смешило меня), и ее соломенные волосы поднялись под ветром.

- Холодные массы воздуха, - сказал я, - вторглись со стороны Скандинавского полуострова, прошли всю европейскую часть и достигли городе Ялты. В Ялте на набережной стояла Лариса.

- Зверь, зверь мой, как я счастлива, если бы ты знал! Если бы ты хоть на минуту себе представил, как мне трудно с тобой!

Мы шли к ларьку (уже была видна надпись "Бульон-пирожки") и крутились вокруг друг друга. В гавани стоял большой белый итальянский лайнер "Ренессанс", и оттуда ветер доносил тихую одинокую мелодию. Играла труба.

- На набережной города Ялты стояла Лариса и пила горячий бульон. Пожалуйста, два стакана! Горячий? Замечательно! На на кубиках? Еще лучше. Мы с ней любим друг друга. Спасибо. С одной стороны, пальцы Ларисы обжигал горячий стакан...

- Ежесекундно дрожать от мысли, что все это может кончиться, что все это может пропасть в один миг, может быть украденным каким-то проходящим поездом, зверь, который и стоит-то на нашей станции всего одну минуту, - это мука!

- С другой стороны, эти же самые пальцы охладили массы холодного воздуха, вторгшегося со стороны Скандинавского полуострова...

- Боже мой, я никогда не знала, как страшно настоящее чувство! Я так боюсь его, зверь, мне кажется, я брошу тебя, потому что я не в силах нести эту тяжесть!

- Малыш, ты несешь какую-то слабоумную чушь, но дело не в этом, дело в том, что эти вот массы холодного воздуха вторглись со стороны Скандинавского полуострова только лишь с одной целью - и с целью благородной и высокой...

- Да, я понимаю, что имитация чувств - уныла, но она совершенно не трагична, одно звено легко меняется на другое, ни над чем не дрожишь, необходима просто сумма качеств...

-...а цель у них такова: поднять твои волосы, выполнить эту великую функцию, ради которой они пролетели столько тысяч миль!

Она остановилась, уставилась на меня, как будто видела в первый раз, уткнулась головой

мне в грудь и заплакала.

- Что ты?
- Ничего. Сейчас пройдет.
- Что с тобой, малыш!
- Мне страшно. После счастья ведь бывают несчастья.
- Кто тебе сказал?
- Я знаю.
- Ерунда. Совершенно не обязательно.
- Ты уверен?
- Абсолютно.
- Ну, слава богу.

Она вытерла слезы, как-то неуверенно улыбнулась, и мы пошли дальше. В гавани прогулочные пароходики качали мачтами. Работали аттракционы. С рынка отдыхающие несли связки сладкого фиолетового лука. Лариса ошиблась: за счастьем последовало еще большее счастье. Но когда пришло несчастье, то из этого совершенно не следовало, что за ним последует очередное счастье. Совершенно не следовало.

- Привет, кисуля! Это я... Светит солнце, но без тебя совершенно не греет... Я? Ничего подобного. Чист, как ангел. Даже крылья прорезаются. Как дела?.. Боря? Какой Боря?.. А да, есть такой... Даже заходил! Ну и что?.. Ну и негодяй!.. Да какой он мне друг? Так, шапочное знакомство. Ну ладно, приеду - разберусь." Да, очень, очень скучаю и вообще... Да здесь просто. много народу. В общем, солнце без тебя не греет. Кисуля, я прилечу через четыре дня, рейс 1214... Да говорю тебе, что чист, как ангел, даже самому противно. Кисуля, я здесь купил пару шкур нам в машину, ну такие шкуры бараньи на сиденье. Нет, на дорого. Нет, ну одну шкуру тебе в машину, другую мне... Ну, со временем, конечно. Зачем нам две машины?.. А если этот идиот Боря еще позвонит, гони его в шею!.. Какого мужа? Он что, здесь?.. А какой он из себя!.. Голубые глаза? Ну это на признак. Ну ладно, с мужем мы как-нибудь справимся. Кисуля, у меня кончается время, целую тебя, целую!

Слава вышел из будки и пошел расплачиваться. Тамара набирала следующий номер, ворча: "Хоть бы кто-нибудь говорил не про любовь. Слушай, Паша, все говорят про любовь! Как будто тут какое-нибудь место таков специальное!" Слава подошел к окошку, толкнул радостно меня локтем: "Палсаныч, я вас подожду". Вынул десять рублей, сунул Тамаре. "Сдачи нет, слушай, мелочь найди! Паша, иди поговори, твой абонент на проводе. Нет мелочи, дорогой, понимаешь или нет?" На деревянных ногах я пошел к будке, даже не представляя, с кем я буду разговаривать и о чем. Оказывается, я заказал телефон редакции. То есть бывшей своей редакции. У телефона оказалась машинистка Марина. Услышав мой голос, она всячески заверещала, затрепыхалась и за секунду владения телефонной трубкой успела выразить свою собственную радость, а также ряд драматических подробностей текущего момента (ивы не представляете, Палсаныч, какой был скандал, когда шеф вернулся из Америки, привез такую авторучку с часами на жидких кристаллах, отпадную просто, и узнал, что вы ушли, и просто рвал и метал, нашего вызвал на ковер, тут еще у Ильюшки такой ляп прошел в материала на четвертую полосу...). Но тут трубку взял Король.

- Паша, - сказал он, - ну наконец-то ты объявился. Я думал, что ты уже совсем снежным человеком стал.
- Привет, старый, - сказал я. - Я тебе вот что звоню, тут перед уходом я тебе оставил одно письмо из Волгограда от читателя по фамилии Гракович. Ты помнишь?
- Паша, - сказал Король, - тебе нужно возвращаться.
- Не понял.
- Подурил и хватит. Ставлю тебя в известность, что у тебя идет отпуск. За этот год. До конца осталось четыре дня. Дальше пойдут прогулы, Паша.

- Это чья же идея?
- Шефа.
- Ты мне не ответил, как с Граковичем?
- Паша, когда это в нашей редакции письма читателей оставались без должного внимания? Я все сделал, Паша. Тем более что ты просил.
- Спасибо.
- Я для тебя поставил в план одну тему о Приэльбрусье - по части выполнения постановлений от пятидесят девятого года. Как ты?
- Нет, спасибо. Раз отпуск, так отпуск.
- Ладно, я Махотина пошлю. Как там у вас погода?
- Люкс.
- Паша, тут до меня дошли разные слухи... ну я раньше-то не знал... Ну, в общем, ты хорошо там отдохни и выкинь это все из головы. Тут, между прочим, мы взяли одну новую сотрудницу, ну невозможно работать стало: все в отдел забегают, кому клей, кому что - озверели... Не вешай носа и не придавай значения.
- Да, - сказал я, - существенного рояля не играет.
- Ну вот, видишь, рад, что у тебя: хорошее настроение.
- Очень, - ответил я, - шутки юмора не иссякают со стороны жизни, Ты ничего не слышал о... о моих!
- Дочь здорова, - ответил Король.
- Спасибо, Король, еще раз.
- Через четыре дня я жду тебя. Каким рейсом ты прилетишь?
- 1214.
- Пришлю машину во Внуково, Я могу доложить шефу?
- Можешь.
- Паша, за восемь лет нашего знакомства я никогда не испытывал по отношению к тебе такого теплого чувства, как сейчас.
- Свинтус! - сказал я. - А ты вспомни, как мы тебя перевозили на Басманную и как я корячился с твоей стенкой! Ты мне, помнится, еще пообещал две бутылки коньяка за мою душевную доброту!
- Паша, это отдельный случай. Салют, дружок!
- Привет, Король, до встречи!

На крыльце почты меня ждал Слава, курил. Что она в нем нашла? Записную книжку? Маловероятно. Там, в Ялте, она была права - настоящая любовь страшна. Страшна так же, как страшны все нестоящие ценности жизни: мать, дети, способность видеть, способность мыслить - словом, все то, что можно по-настоящему потерять. Я рассматривал Славу, будто видел его в первый раз. Он что-то говорил. В его внешности я пытался открыть для себя какие-то отвратительные черты, но у него не было ни ранним мешков под глазами, ни желтых прокуренных зубов, ни волос, торчащих из ноздрей, ни хищного выражения глаз. Он был нормальным парнем, хорошо одетым даже для горнолыжного курорта, в шведской пуховой куртке, в надувных американских сапогах, то ли "Аляска", то ли черт их знает как они там называются. У него был взгляд хозяина жизни, прекрасно разбирающегося в дорожной карте. Да и ни в чем он не был виноват. Просто вырос в такое время. Не хлебал никогда щи из крапивы, не делал уроки у открытой дверцы "буржуйки", никогда не знал, что джаз - запретная музыка, не смотрел на телевизор, как на чудо, - просто потреблял все, что дало ему время: густую белковую пищу, быструю автомобилизацию, стремительную человеческую необязательность, Москву как средоточие всего. Наверняка и Лариса внесена в его книжечку: "Лариса Л., тел. художник по тканям, отд. кв., машина, дача, любит "шерри-бренди". А может, и у нее есть такая же тайная книжечка. Они ведь, в общем, из одной команды...

- Голубоглазый! Вот примета! - говорил Слава. - Ну бабы - куры! Сколько здесь голубоглазых! Еще подъедет на склоне какой-нибудь бугай... голубоглазый... привет вам от

тети! Теперь только и оглядывайся. Я вообще этого очень не люблю - иметь дело с мужьями, как с настоящими, так и с бывшими. Но Борька, Борька-то подлец! Руки чуть не ломал! - Он же выполнял инструкции, - сказал я. Мы шли по дороге, окаймленной высокими соснами и по всем правилам классической композиции заканчивающейся заснеженной вершиной. На большой высоте дорогу пересекал самолет, за которым тянулась сверкающая нитка инверсионного следа. Меня томил этот путь, я стал думать о самолете, о его марке, о том, как пилот сейчас, сидя верхом на этой жуткой турбине, сверяет курсовые, поглядывает на показатель числа Маха, как на аэродроме, уже совершенно весеннем, у каких-то сборно-щитовых домиков, где шифер нагревается к вечеру, а степной горизонт дрожит в токах восходящего от нагретой земли воздуха... есть окошко с занавеской, и вот там есть медсестра в поликлинике... она сейчас принимает бального... и знает, что ее муж... ну, предположим, не муж, а жених сейчас в полете... А, ерунда какая!

- Вот что, Слава, - сказал я. - Вы не терзайтесь догадками. Бывший муж Ларисы - это я. Я очень любил Ларису и не хотел бы ничего знать о ее дальнейшей жизни.

Слава чуть отшатнулся от меня. Пожал плечами.

- Се ля ви, - сказал он довольно оригинально.

- Вот именно, - сказал я и дальше уже пошел в одиночестве.

Я просыпаюсь. До подъема - две минуты. Смотрю в окно. Прямоугольник окна, как рама картины, ограничивает природу. В правом верхнем углу поблескивает голубоватой сталью арктический лед висящего ледника. От него ниспадает вниз, разрезая лес, растущий на скалах, снежный кулуар, дорога лавин. За краем горы, на ровном фоне предрассветного неба и дальше, там, где восходит заря, стоят, перевязанные кисейными платками туманов, горы такого нежного оттенка, что могут быть изображены лишь тонкой акварельной кистью.

(Напротив меня на постели сидит и одевается огромный лось, инструктор Ермаков, человек редкой доброты и здоровья. "Паша, - говорит он мне, - не дрыхни!")

В левой части картины, едва не цепляясь иголками о стекло, стоит сосна, совершенно обглоданная ветрами с северной стороны. Композиция замечательная. Все вставлено в раму и окантовано. Но вот подлетел утренний ветерок, сосна моя покачнулась, снег с ее веток сорвался и мелькнул мимо стекла, картина стала окном. Только окном. (Мы с Ермаковым вышли из номера и пошли на зарядку.) "Да, - думал я, сбегаю по лестнице, - я рисую в своем воображении фальшивые картины жизни. Но вот дунет слабый ветерок реальности, и, казалось бы, стройная картина превращается в маленькую часть огромной панорамы жизни, которая не вписывается ни в раму, ни в окно, ни в любые ограничения. (Мы бежали с Ермаковым по снежной просеке под золотистыми вершинами сосен - прекрасно!) Она не любит меня, не любит, я должен осознать, что это правда, что это истина. Никаких других картин, кроме правдивых, природа не создает. Природе свойственно только одно состояние - состояние самой глубокой и чистой правды. Ты - ее часть. Ты в учениках у нее. Отрешишь от надежд. Надежда есть стремление к обману. Собственно говоря, надежда - это и есть обман. (Ермаков бежал ровно, дышал ровно, будто спал, загонял меня вверх по снежной дороге.)

Это была ее идея - переночевать в кафе, чтобы позавтракать с "видом на Эльбрус", как она сказала. Все так и было: когда остановились канатные дороги и схлынули вниз и "чайники" и лыжники, настала тишина. Вся жизнь спустилась в Баксанскую долину, и в синей ее глубине уже зажигались первые звездочки огней. За вершиной Андырчи разлилось розовое зарево, которое постепенно становилось фиолетовым, и это ежевечернее, ежевесеннее движение красок можно было наблюдать неустанно, что мы и делали. Потом был бесконечный чай, и прямо возле полной луны висели две спелые планеты. Потом была ночь. Луна, совершенно не желавшая с нами расставаться, вонзалась сквозь высокие узкие окна косыми бетонными пилонами, выхватывая на нарах кусни простынь, белые плечи, груды ботинок на полу. Всю

ночь луна шла над вершинами Донгуза и Накры, слева направо, и белые бетонные столбы ее света медленно двигались по комнате, не оставляя без внимания ничего. Было наиполнейшее полнолуние, была настоящая чегетская луна, половецкое молочное сияние, мать бессонницы, тихая песня иных миров. Всю ночь мы не спали, не разговаривали, лежали и смотрели друг на друга, и Лена иногда беззвучно плакала, не знаю от чего, может быть, и от счастья. Сначала это выглядело как имитация чего-то прекрасного, ну как, скажем, три лебедя на пруду у подножия замка: ночь, прекрасное лицо, лунный свет, ржаной водопад волос, тихие слезы. Оперетта. К середине ночи это стало оперой. Все стало первичным, настоящим, и бутафорский свет луны заключал в себе истину, будто никогда на земле не было другого света. В ночи раздавались обрывки смеха... звучали странные мелодии... что-то позвякивало и побрякивало... кто-то ехал на велосипеде - уж не мальчик ли? Да, это он стоял в косом бетонном столбе лунного света и глядел на нас. Боже, какая луна! Уверю вас, что астрономы ошибаются: у Земли есть еще один спутник, совершенно отдельный, штучный, абсолютно непохожий на то, что светит на земле, лежащие вне пределов чегетской горнолыжной трассы.

Утром мы открыли ротонду кафе и сели завтракать. Перед нами был рассветный Эльбрус, на столе был завтрак: яичница, сало, хлеб, чай, сахар. Грубо говоря, все это вместе могло быть названо счастьем.

- Я уезжаю, Леночка, - сказал я. - Рога трубят.
- Ты меня не любишь?
- Нет. Я люблю другого человека и ничего не могу с собой поделать.
- У тебя появились какие-то шансы?
- Ни одного. Да я их и не ищу. И не буду искать.
- А если она попытается к тебе вернуться?
- Это ее личное дело. Я не вернусь к ней никогда.
- Почему же ты говоришь, что любишь ее?
- Потому что я ее люблю.
- Может быть, ты любишь не ее, а свою любовь к ней?
- Может быть. Ты знаешь, Лена, я за очень многое благодарен тебе...
- Не надо слов. Мы до этого вели разговор в хорошем стиле.

Она говорила все очень спокойно, будто речь шла о деталях горнолыжной техники. Выглядела свежо, лунная ночь не оставила на ее лице никакой печати. Ее спокойствие стало понемногу пугать меня. Я намеревался сказать ей все это и был готов к различного рода протуберанцам. Я уверял себя, что должен быть тверд, я говорил правду, но она была спокойна, и холод расставания стал наполнять меня, будто где-то внутри открылся старомодный медный кран с ледяной водой.

- Что ты намерен делать, Паша?
 - Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
 - Будешь ждать новой любви?
 - Надежды нет. Может быть, произойдет чудо. Не моя и не твоя вина, что я встретился тебе таким уродом. Как в старом анекдоте: она жила с одним, но любила другого. Все трое были глубоко несчастны. Что ты будешь делать?
 - Я люблю тебя. Банально. Незамысловато. Никакого разнообразия.
- Она жалко улыбнулась и пожала плечами. В электрокабине дрогнул свет - это включились подъемные дороги. Завтрак с видом на Эльбрус закончился. Пора было возвращаться в жизнь.